



Май 20
бек

Дневник писательницы

Вирджиния Вулф

УДК 820/89-94
ББК 84.4
В8К

Издание осуществлено при поддержке
Британского совета в Москве

Virginia Woolf. A Writer's Diary

Серия основана в 1995 году

Дизайн серии Евгения Вельчинского

Вулф В.

B88

Дневник писательницы / Вирджиния Вулф; [пер. с англ.
Л.И.Володарской; предисл. Е.Ю.Гениевой]. VI, - Центр книги ВГБИЛ
им. М.И. Рудомино, 2009 — 480с.: ил.

ISBN 978-5-7380-0300-4

Эта книга познакомит читателя с дневниками известной британской писательницы Вирджинии Вулф (1882-1941). В своих дневниках, которые она вела с 1915 года — последняя запись датируется 8 марта 1941 года, через четыре дня В.Вулф ушла из жизни, — она писала обо всем, что произошло с ней, о людях, с которыми встречалась, о книгах, которые читала. И самое важное — о произведениях, над которыми работала: романах, рассказах, эссе, статьях.

УДК 820/89-94
ББК 84 4

УДК 820.89.51
ББК 84.4
В8К

Дневник писательницы / Вирджиния Вулф; [пер. с англ. Л.И.Володарской; предисл. Е.Ю.Гениевой]. VI, - Центр книги ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, 2009 — 480с.: ил.

Вулф В. Дневник писательницы / Вирджиния Вулф; [пер. с англ. Л.И.Володарской; предисл. Е.Ю.Гениевой]. VI, - Центр книги ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, 2009 — 480с.: ил.

В своей дневниковой записке Вулф рассказывает о своей жизни, о людях, с которыми встречалась, о книгах, которые читала. И самое важное — о произведениях, над которыми работала: романах, рассказах, эссе, статьях.

© Центр книги ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, 2009

Глава 1. Минималистичные, булавочные, инстинктивные формы	7
Глава 2. Целые формы с ребрами души	11
Глава 3. Двухмерные формы	15
Глава 4. Двухмерные формы с ребрами души	19
Глава 5. Двухмерные формы с ребрами души	23
Глава 6. Двухмерные формы с ребрами души	27
Глава 7. Двухмерные формы с ребрами души	31
Глава 8. Двухмерные формы с ребрами души	35
Глава 9. Двухмерные формы с ребрами души	39
Глава 10. Двухмерные формы с ребрами души	43
Глава 11. Двухмерные формы с ребрами души	47
Глава 12. Двухмерные формы с ребрами души	51
Глава 13. Двухмерные формы с ребрами души	55
Глава 14. Двухмерные формы с ребрами души	59
Глава 15. Двухмерные формы с ребрами души	63
Глава 16. Двухмерные формы с ребрами души	67
Глава 17. Двухмерные формы с ребрами души	71
Глава 18. Двухмерные формы с ребрами души	75
Глава 19. Двухмерные формы с ребрами души	79
Глава 20. Двухмерные формы с ребрами души	83
Глава 21. Двухмерные формы с ребрами души	87
Глава 22. Двухмерные формы с ребрами души	91
Глава 23. Двухмерные формы с ребрами души	95
Глава 24. Двухмерные формы с ребрами души	99
Глава 25. Двухмерные формы с ребрами души	103
Глава 26. Двухмерные формы с ребрами души	107
Глава 27. Двухмерные формы с ребрами души	111
Глава 28. Двухмерные формы с ребрами души	115
Глава 29. Двухмерные формы с ребрами души	119
Глава 30. Двухмерные формы с ребрами души	123
Глава 31. Двухмерные формы с ребрами души	127
Глава 32. Двухмерные формы с ребрами души	131
Глава 33. Двухмерные формы с ребрами души	135
Глава 34. Двухмерные формы с ребрами души	139
Глава 35. Двухмерные формы с ребрами души	143
Глава 36. Двухмерные формы с ребрами души	147
Глава 37. Двухмерные формы с ребрами души	151
Глава 38. Двухмерные формы с ребрами души	155
Глава 39. Двухмерные формы с ребрами души	159
Глава 40. Двухмерные формы с ребрами души	163
Глава 41. Двухмерные формы с ребрами души	167
Глава 42. Двухмерные формы с ребрами души	171
Глава 43. Двухмерные формы с ребрами души	175
Глава 44. Двухмерные формы с ребрами души	179
Глава 45. Двухмерные формы с ребрами души	183
Глава 46. Двухмерные формы с ребрами души	187
Глава 47. Двухмерные формы с ребрами души	191
Глава 48. Двухмерные формы с ребрами души	195
Глава 49. Двухмерные формы с ребрами души	199
Глава 50. Двухмерные формы с ребрами души	203
Глава 51. Двухмерные формы с ребрами души	207
Глава 52. Двухмерные формы с ребрами души	211
Глава 53. Двухмерные формы с ребрами души	215
Глава 54. Двухмерные формы с ребрами души	219
Глава 55. Двухмерные формы с ребрами души	223
Глава 56. Двухмерные формы с ребрами души	227
Глава 57. Двухмерные формы с ребрами души	231
Глава 58. Двухмерные формы с ребрами души	235
Глава 59. Двухмерные формы с ребрами души	239
Глава 60. Двухмерные формы с ребрами души	243
Глава 61. Двухмерные формы с ребрами души	247
Глава 62. Двухмерные формы с ребрами души	251
Глава 63. Двухмерные формы с ребрами души	255
Глава 64. Двухмерные формы с ребрами души	259
Глава 65. Двухмерные формы с ребрами души	263
Глава 66. Двухмерные формы с ребрами души	267
Глава 67. Двухмерные формы с ребрами души	271
Глава 68. Двухмерные формы с ребрами души	275
Глава 69. Двухмерные формы с ребрами души	279
Глава 70. Двухмерные формы с ребрами души	283
Глава 71. Двухмерные формы с ребрами души	287
Глава 72. Двухмерные формы с ребрами души	291
Глава 73. Двухмерные формы с ребрами души	295
Глава 74. Двухмерные формы с ребрами души	299
Глава 75. Двухмерные формы с ребрами души	303
Глава 76. Двухмерные формы с ребрами души	307
Глава 77. Двухмерные формы с ребрами души	311
Глава 78. Двухмерные формы с ребрами души	315
Глава 79. Двухмерные формы с ребрами души	319
Глава 80. Двухмерные формы с ребрами души	323
Глава 81. Двухмерные формы с ребрами души	327
Глава 82. Двухмерные формы с ребрами души	331
Глава 83. Двухмерные формы с ребрами души	335
Глава 84. Двухмерные формы с ребрами души	339
Глава 85. Двухмерные формы с ребрами души	343
Глава 86. Двухмерные формы с ребрами души	347
Глава 87. Двухмерные формы с ребрами души	351
Глава 88. Двухмерные формы с ребрами души	355
Глава 89. Двухмерные формы с ребрами души	359
Глава 90. Двухмерные формы с ребрами души	363
Глава 91. Двухмерные формы с ребрами души	367
Глава 92. Двухмерные формы с ребрами души	371
Глава 93. Двухмерные формы с ребрами души	375
Глава 94. Двухмерные формы с ребрами души	379
Глава 95. Двухмерные формы с ребрами души	383
Глава 96. Двухмерные формы с ребрами души	387
Глава 97. Двухмерные формы с ребрами души	391
Глава 98. Двухмерные формы с ребрами души	395
Глава 99. Двухмерные формы с ребрами души	399
Глава 100. Двухмерные формы с ребрами души	403
Глава 101. Двухмерные формы с ребрами души	407
Глава 102. Двухмерные формы с ребрами души	411
Глава 103. Двухмерные формы с ребрами души	415
Глава 104. Двухмерные формы с ребрами души	419
Глава 105. Двухмерные формы с ребрами души	423
Глава 106. Двухмерные формы с ребрами души	427
Глава 107. Двухмерные формы с ребрами души	431
Глава 108. Двухмерные формы с ребрами души	435
Глава 109. Двухмерные формы с ребрами души	439
Глава 110. Двухмерные формы с ребрами души	443
Глава 111. Двухмерные формы с ребрами души	447
Глава 112. Двухмерные формы с ребрами души	451
Глава 113. Двухмерные формы с ребрами души	455
Глава 114. Двухмерные формы с ребрами души	459
Глава 115. Двухмерные формы с ребрами души	463
Глава 116. Двухмерные формы с ребрами души	467
Глава 117. Двухмерные формы с ребрами души	471
Глава 118. Двухмерные формы с ребрами души	475
Глава 119. Двухмерные формы с ребрами души	479
Глава 120. Двухмерные формы с ребрами души	483

«НАДО ПИСАТЬ ИЗ САМЫХ ГЛУБИН ЧУВСТВ...»

Вирджиния Вулф родилась в 1882 году в одной из самых образованных и рафинированных семей уходящей в прошлое викторианской Англии. Ее отец, Лесли Стивен, — фигура заметная в общественной и литературной жизни Англии: радикал, атеист, вольнодумец, философ, историк, литературовед. Первым браком Лесли Стивен был женат на младшей дочери Теккереля, Харриет Миризм. Она умерла молодой, в 1878 году, и Лесли Стивен женился во второй раз. Его избранницей стала близкая подруга Харриет — Джулия Дакворт, происходившая из родовитой семьи. Вирджиния была третьим ребенком Лесли Стивена и Джулии.

Искусство для Вирджинии Стивен было такой же повседневностью, как для какого-нибудь другого ребенка шалости или игры. Она выросла среди постоянных разговоров о литературе, живописи, музыке. В доме ее отца получали благословение начинающие писатели, ниспровергались общепризнанные авторитеты. Вот почему детской комнатой Вирджинии была библиотека, крестным отцом — поэт Джеймс Рассел Лоуэлл, товарищем по играм — писатель Генри Джеймс, греческому языку ее учила сестра Уолтера Пейтера, известного эссеиста, искусствоведа. Дух, царивший в доме Лесли Стивена, сохранился и в доме в Блумсбери, куда переехала семья после смерти отца. Этому дому суждено было сыграть немалую роль в истории английской культуры XX века.

Блумсбери — район в центре Лондона неподалеку от Британского музея, где по традиции селились художники, музыканты, писатели. Здесь обосновались и дети Лесли Стивена — сыновья Тоби и Адриан, дочери — Ванесса и Вирджиния. Это были молодые люди, отменно образованные (хотя девушки получили лишь домашнее образование), с отчетливо выражен-

ными художественными склонностями. Они-то и составили ядро кружка, или салона, который по месту своего нахождения получил название «Блумсбери».

Здесь по вечерам собирались молодые литераторы, которые до хрипоты, засиживаясь за полночь, спорили об искусстве. Частыми гостями тут были поэт Томас Стернз Элиот, философ Бертран Рассел, литературовед Роджер Фрай, критик и эссеист Литтон Стрэчи, романист Эдуард Морган Форстер и журналист левых взглядов Леонард Вулф, который в 1912 году стал мужем Вирджинии Стивен.

Новичку, впервые сюда попавшему, бывало не по себе. Молодому Дэвиду Герберту Лоуренсу, впоследствии классику английской литературы XX века, показалось, что он сходит с ума от нескончаемых бесед, участвовать в которых было совсем не легко. Говорили вроде бы о пустяках, но как-то незаметно беседа могла перейти на только что открывшуюся в Лондоне выставку импрессионистов, вызвавшую у старшего поколения, воспитанного на академической живописи, взрыв негодования. а здесь, в «Блумсбери», принятую на ура. В этом салоне знали назубок работы американского психолога Уильяма Джеймса, с легкой руки которого в литературный обиход вошло понятие «поток сознания», зачитывались Зигмундом Фрейдом, которого почитали пророком, изучали швейцарского культуролога Карла Юнга и его теорию архетипов. Из этих новых теорий следовало, что область подсознательного не менее важна, чем сфера сознательного, — здесь скрыты импульсы, неосуществленные желания, здесь бытуют некие неизменные структуры и модели поведения и мышления, роднящие современного человека с его дальними предками. Другим властителем дум «блумсберийцев» был французский философ Анри Бергсон, отвергший механическо-рационалистический подход к бытию и к категории времени. С не меньшим рвением изучали «блумсберийцы» и двенадцатитомный труд «Золотая ветвь» английского антрополога Джеймса Фрейзера, который пытался обосновать глубинную связь между сознанием древнего и современного человека. Любили «блумсберийцы» Стерна и Монтеня, но их губы складывались в ироничную улыбку, когда кто-нибудь при них с похвалой отзывался об Арнольде Беннете, Герберте Уэллсе или Голсуорси.

«Блумсбери» — это особый знак времени, когда на смену традиционному представлению об искусстве приходило новое, авангардистское, У литераторов, входивших в «Блумсбери», впрочем, четкой эстетической программы не было. Клуб объединил очень разных по своим творческим установкам, социальным взглядам, литературным пристрастиям молодых людей. У многих, особенно традиционалистов, он вызвал негодование. Молодым людям не могли простить раскованности поведения, легкости, с которой они играли философскими, нравственными, эстетическими категориями, обсуждали, в том числе и женщины, вопросы интимной жизни, все еще остававшиеся под запретом. Им не прощали пренебрежительного отношения к современному английскому искусству, уничижительной, часто «высоколобой» критики, которой они подвергали любое проявление меркантилизма, пошлости, ограниченности. Им отказывали в серьезности, называли «пустомелями» и «пустоцветами». И только самые принципиальные смогли разглядеть за эпатажем позу, а за ней, в свою очередь, протест. «Блумсберийцы» были настоящими детьми рубежа веков: сложившиеся на разломе эпох, лишённые социальных и нравственных ориентиров, современники, а иногда и участники социальных катаклизмов эпохи (две революции в России, Первая мировая война), они мучительно расставались с ценностями поколения отцов, с тревогой вглядывались в новую, рождающуюся у них на глазах действительность. Отринув старые религии, они жаждали новых. Хулители и ниспровергатели традиций, глашатаи — иногда слишком громкие — всего нового, «блумсберийцы» ратовали за свободное, беспрепятственное самовыражение личности, были убеждены в том, что нет ничего более нравственного, чем соображения эстетические, и что «деспотизм по своей природе ни плох, ни хорош». К середине 30-х годов клуб распался.

Притом что это были художники разные, всех их объединяло убеждение, что за поверхностью привычных вещей скрывается «нечто» — сама неуловимая суть жизни. «Великая Сложность», явить которую миру может лишь новое искусство. И потому в их произведениях реальная, доступная привычному взгляду оболочка вещей взрывается, ко всему механическому, подающемуся научному толкованию они относятся с не-

доверием, делая упор на постижение метафизического смысла яштения.

Сейчас, когда открытия Вирджинии Вулф давно уже освоены, трудно представить, какой взрыв негодования у приверженцев традиционной прозы вызвали ее первые рассказы «Дом с привидениями», «Понедельникли, вторник...», «Пятно на стене», «Струнный квартет». «Ненаписанный роман», «Фазанья охота». Особенно, пожалуй, четыре первых, которые и рассказами-то назвать невозможно. Ни сюжета, никакой временной и географической определенности, если и мелькнут, кактени, какие-то персонажи, то разве это герои в классическом понимании этого слова? Стихотворения в прозе, заготовки для будущих произведений, листки черновиков? Действительно. некоторые из этих прозаических опытов — назовем их так — вошли, видоизменившись, в ее романы. И все же это самостоятельные, отдельные, художественно продуманные произведения. И если уж подбирать жанровое определение, то это, видимо, лирическое эссе или — что еще вернее — зарисовка настроения, психологического состояния, попытка средствами языка, слова передать ощущение. не столько саму мысль, сколько процесс мышления, поиск истины. Недаром в рассказе «Понедельник ли. вторник...» так часто повторяется слово «истина». Истина, дает понять Вирджиния Вулф, в силу своей изменчивой, зыбкой, неуловимой природы противится рациональному анализу. Быть может, музыка владеет этой тайной? И Вирджиния Вулф в своем программном рассказе «Струнный квартет» пытается сделать невозможное — передать словом музыку. Надо заметить, что в эти годы не только Вирджиния Вулф ставила перед собой столь дерзкую задачу. Один из эпизодов романа Джеймса Джойса «Улисс», «Сирень», написан по законам фуги. И в творчестве самой Вирджинии Вулф «музыкальная проза» неслучайность. Ее поздний роман «Волны» создавался как «роман-соната», и в его композиции, стиле сделана попытка учесть законы этой музыкальной формы. Вообще многих писателей, музыкантов, художников первых десятилетий XX века неудержимо влечет идея синтеза. Рождается синкретическое искусство, например Скрябин и его эксперимент со световой музыкой, Стринлберг и его «Соната призраков».

Мучаясь, как и ее героиня в рассказе «Итог», Саша Лейзем, вопросом: «Какой же взгляд истинный?» и прекрасно понимая, что «можно взглянуть на дом... и так и эдак», Вирджиния Вулф показывает смысл своих расхождений с викторианцами и их преемниками в искусстве — эдвардианцами. Прочитав заглавие «Дом с привидениями», ждешь чего-нибудь в духе Оскара Уайльда («Кентервильское привидение»), И в рассказе-зарисовке Вирджинии Вулф есть призраки, но они какие-то другие, «неклассические». Бесшумно, боясь потревожить покой хозяев, они ступают по лестнице, взявшись за руки, — кто они, мужчина и женщина? — и настойчиво ищут что-то — радость, оставленную в доме и обретшую свое пристанище в душах хозяев.

Современники же сразу узнавали в «Пятне на стене», «Ненаписанном романе», «Фазаньей охоте» полемику с Арнольдом Беннетом, его теорией объективной дет&ти. Если тщательно и вдумчиво, полагал писатель, воспроизвести на страницах повести, рассказа или романа местожительство героя, рассказать о его профессии, годовом доходе и т.д., характер будет выписан и ясен читателю. А вот и нет, возражает всей логикой повествования и в «Пятне на стене», и в «Ненаписанном романе», и в «Фазаньей охоте» Вирджиния Вулф.

Жизнь, «обожаемый мир», как она пишет в конце «Ненаписанного романа», загадочна, а потому непредсказуема. В поезде едут женщины. Всматриваясь в их лица, вглядываясь в выражение глаз, подмечая что-то характерное как будто бы только для них (нервную чесотку у героини «Ненаписанного романа»), Вирджиния Вулф, доверившись старым рецептам, старается прочитать книгу их жизни, выстроить их судьбу, понять психологию. Но что-то все время ускользает. И тогда, ощутив ошибку, перестав доверять правде факта, Вирджиния Вулф отдает себя во власть воображения, резко меняет ракурс видения в «Фазаньей охоте». Мы попадаем в некий фантастический, а то и фантазмагорический мир сна, воспоминаний, ночного кошмара, подсознания. Это царство страстей, потрясений, смятения, комплексов, грехов, здесь срываются благопристойные маски, здесь на нас смотрят настоящие лица. Каноны эдвардианской прозы не просто подвергаются сомнению, они самым решительным способом отвергаются: не случайно портрет

коротя Эдуарда с грохотом падает на пол. не случаен и образ зеркала в прозе Вирджинии Вулф. Глянув в зеркало этой писательницы («Женщина в зеркале»), увидишь не свое отражение и не привычные, знакомые чуть ли не с детства предметы. Встретишься взглядом с кем-то. кто, видимо, и есть твое «я», или же познакомишься с твоим материализовавшимся представлением о себе. Да и предметы под влиянием причудливо упавшего света (еще один образ-лейтмотив в прозе Вирджинии Вулф, на котором, в частности, построен рассказ «Прожектор») вдруг приобретут неожиданные очертания, оживут.

И все же — о чем эта проза? Об охоте, нравах в английской глуши («Фазанья охота»), о том, как мыкалась всю жизнь, виня себя в смерти (или увечье?) маленького брата, несчастная Минни Марш («Ненаписанный роман»)?

Душа — вот главное, вот итог размышлений Вирджинии Вулф. Недаром именно слово «Итог» вынесено в заглавие рассказа, где героиня рассуждает, что такое душа. Л «Липин и Лапина» — это повествование об одиночестве души, задыхающейся в мешанской, пошлой обстановке, где тесно не только от тяжеловесной мебели, громоздких буфетов, но и от вязких, никчемных, тупых мыслей и выхолощенных чувств. Пожалуй, это один из первых рассказов в западной литературе, где так остро поставлены проблемы отчуждения и расщепления личности, духовного нездоровья, которое в «вывихнутом» XX веке иногда принимает форму «конька», причуды. В самом деле, нормальна ли Розалинда или герой рассказа «Реазные предметы», который, к полному недоумению своих друзей по университету, быстро продвигающихся по службе, махнул рукой на карьеру и увлекся коллекционированием предметов необычной формы?! Конечно, странность, но, как и в случае с Розалиндой, — протест, пусть неосознанный, против потребительской психологии, вещизма, материализма цивилизации. Пройдет каких-нибудь тридцать-сорок лет, и именно эти темы станут центральными в западноевропейской и американской литературе.

Вирджиния Вулф, вспоминает Леонард Вулф, писала рассказы все время. Если какое-нибудь событие или впечатление привлекали ее внимание, она обычно записывала их. Потом не раз возвращаясь к наброскам, и так рождался рассказ. Но из-

за пристрастного отношения к собственному труду она по большей части считала, что эти небольшие вещицы еще не готовы, что им необходимо полежать, дожидаясь своего часа, в ящике письменного стола.

О в высшей степени требовательном отношении к своему творчеству говорят и рассказы, тематически и сюжетно связанные с романом «Миссис Дэллоуэй», — «Новое платье», «Вместе и порознь», «Люби ближнего своего», «Предки»: на их страницах не раз мелькают главные герои этого романа.

В дневниках Вирджинии Вулф отражены не только события «внешнего мира», но и жизнь души писательницы, смыслом и сутью которой было творчество. В них особенно много записей о «Миссис Дэллоуэй» (1925): «Я принялась за эту книгу, надеясь, что смогу выразить в ней свое отношение к творчеству... Надо писать из самых глубин чувства — так учит Достоевский. А я? Может быть, я, так любящая слова, лишь играю ими? Нет, не думаю. В этой книге у меня слишком много задач — хочу описать жизнь и смерть, здоровье и безумие, хочу критически изобразить существующую социальную систему, показать ее в действии... И все же пишу ли я из глубины своих чувств?.. Смогу ли передать реальность? Думаю о писателях восемнадцатого века. Они были открытыми, а не застегнутыми, как мы теперь».

О чем роман? Светская дама, Кларисса Дэллоуэй, весь день проводит в хлопотах о предстоящем вечером приеме. Ее муж, Ричард Дэллоуэй, член парламента, завтракает с влиятельной леди Брун и обсуждает важные политические новости. Их дочь, Элизабет, пьет чай в кафе с очень несимпатичной учительницей истории, давно уже ставшей ее подругой, мисс Килман. В Лондон после долгого отсутствия возвращается из Индии Питер Уолш, когда-то влюбленный в Клариссу. Несчастный душевнобольной Септимус Смит выбрасывается из окна. Кларисса дает прием — нескончаемый поток приветствий, поцелуи, сплетни, новости.

Хотя внешне канва сюжетно-фабульного повествования соблюдена, на самом деле роману не хватает именно традиционной событийности. Собственно событий, как их понимала поэтика добротного классического романа, здесь нет вообще.

Какие же это события — прогулки по Лондону, ленчи, чаепития, приемы?

Повествование (если это слово передает то, что происходит в романе) существует на двух уровнях. Первый, хотя и не отчетливо событийный, — внешний, материальный. Покупают цветы, зашивают платье, гуляют по парку, делают шляпки, принимают больных, обсуждают политику, ждут гостей, выбрасываются из окна. Здесь в обилии красок, запахов, ощущений возникает Лондон, увиденный с удивительной топографической точностью в разное время дня, при разном освещении. Здесь дом замирает в утренней тишине, готовясь к вечернему шквалу звуков. Здесь неумолимо бьют часы Биг-Бена, отмеряя время.

Мы и в самом деле проживаем с героями долгий июньский день 1923 года — но не только в реальном времени. Мы не только свидетели поступков героев, мы в первую очередь «соглядатаи», проникшие «в святая святых» — их душу, память, их сны. Только кажется, что в этом романе много говорят. По большей части молчат, а все настоящие беседы, диалоги, монологи, споры происходят за завесой Молчания — в памяти, воображении. Память капризна, она не подчиняется законам логики, память часто бунтует против порядка, хронологии. И хотя удары Биг-Бена постоянно напоминают нам, что время движется, не астрономическое время властвует в этой книге, но время внутреннее, ассоциативное. К «рамочному» рассказу (Кларисса зашла в цветочный магазин, Реция пошла прогуляться по парку, Питер Уолш, пригревшись на солнце, задремал на скамейке, Ричард Дэллоуэй, купив букет роз Клариссе, возвращается домой) примешиваются вроде бы совершенно посторонние события, происходившие в другом месте — в Бортоне, имении, где прошли детство и юность Клариссы, в Милане, где безмятежно текло девичество Реции, в Индии, где Питер Уолш оставил любимую женщину. Но именно эти второстепенные, не имеющие формального отношения к сюжету события и служат почвой для внутренних движений, совершающихся в сознании.

В редкой жизни одно событие от другого отделяет в романе лишь несколько минут. Вот Кларисса сняла шляпу, положила ее на кровать, прислушалась к какому-то звуку в доме.

И вдруг — мгновенно — из-за какой-то мелочи: то ли запаха, то ли звука — открылись шлюзы памяти, произошло сопряжение двух реальностей — внешней и внутренней. Вспомнилось, увиделось детство — но оно не промелькнуло быстрым, теплым образом в сознании, оно ожило здесь, посреди Лондона, в комнате уже немолодой женщины, зацвело красками, огласилось звуками, зазвенело голосами. Такое сопряжение реальности с памятью, мгновений с годами создает в романе особое внутреннее напряжение: проскакивает сильнейший психологический разряд, вспышка которого высвечивает характер.

Это высвечивание особенно важно, потому что в романе нет и не может быть рентгеновского просвечивания. Наше знание о Клариссе, о Питере, леди Брун, Элизабет, Септимусе складывается не из единственного и непоколебимого знания автора, но из суммы знаний других героев. На Клариссу направлено множество взглядов: Питера, мисс Килман, Ричарда, Элизабет, леди Брун, Салли, гостей на приеме. Вирджиния Вулф отказывается быть всезнающим творцом своей художественной вселенной, но предстает перед нами сомневающейся, колеблющейся, вопрошающей. Так и кажется, что правда о героях известна ей не более, чем нам, ее читателям.

В самом деле, что можно знать о Клариссе, если видеть ее только в реальном времени, — праздная, богатая женщина, благополучная, не очень здоровая, не злая...

Мгновенно, в воспоминаниях перенесясь в Бортон, мы попадаем в другую жизнь — в «утраченное время». Откуда-то из глубин памяти выплывают образы: тетка, гувернантка, любимая подруга Салли Сетон. Одни контрастны (Салли), другие намечены пунктиром. С некоторыми из этих «пришельцев» мы так и не встретимся в реальном времени романа, а некоторые (Салли) возникнут лишь на последних страницах, и мы, уже столько о них знающие, будем иметь возможность сопоставить их нынешние черты с «прежними».

В Бортоне все еще полнолось ожиданиями, надеждами, предвкушением будущего. Когда-то Кларисса умела мечтать, увлекалась под влиянием Салли утопическими идеями Уильяма Морриса (теперь же читает только мемуары): ее душа зна-

вала борьбу: Питер Уолш или Ричард Даллоуэй, благополучие, покой — или бесконечное горение, сгорание, муки любви, самопожертвование.

Сопоставив теперешнюю Клариссу с бортоновской, мы вдруг особенно ясно видим всю несостоятельность ее как личности. Не состоялась в любви — потому таким лиризмом окрашены ее воспоминания о Питере Уолше. Не состоялась как влиятельная светская дама — леди Брути даже не считает нужным позвать ее на ленч, где будут решаться важные вопросы. Не состоялась как мать — Элизабет относится к ней (во всяком случае пока, в период своего юношеского бунтарства) снисходительно-иронически, не приемлет ее праздного, никому не нужного образа жизни. При всем благополучии Клариссы в ней ощущается некоторое беспокойство, неуверенность — отчуждение уже стиснуло железным, холодным кольцом ее душу. Она одинока, затеряна в мире. Внутренне надломленная, Кларисса потому и придает такое внимание мелочам — цветам, платью, хрусталу, старой подушке на диване, потому так оживает, оказавшись в Бортоне, — в своих воспоминаниях.

Но именно из этих мелочей, пустяков — часто очень важных для понимания характера — и складывается картина мира, которую рисует Вирджиния Вулф. Психолог, мастер тончайшей иронии, наивернейшей летали, писательница, которой была подвластна полифония взглядов, оценок, чувств, Вирджиния Вулф неуловимым приемом может создать ощущение единства мира — герои наблюдают за проезжающим по городу авто или летящим над городом самолетом, и судьбы людей, друг с другом не связанных, вдруг становятся единым целым. В ее психологической прозе, в четких, выверенных до мелочей деталях возникает образ времени — образ Англии, пережившей Первую мировую войну, колониальной державы, постоянно заботящейся о сохранении своей власти.

Литературоведческая традиция не занесла Вирджинию Вулф в число авторов, нарисовавших в своих произведениях драматический портрет «потерянного поколения». Видимо, современникам, как, впрочем, и тем, кто сразу же шел за ними, и в голову не приходило, что английская леди может взяться за такую тему. Однако время все расставило по местам. Образ Септимуса Смита по трагизму мировосприятия близок об-

разу Джорджа Уинтерборна из «Смерти героя» Ричарда Олдингтона. Юноша, «похожий на Китса», полный высоких мыслей о жизни и искусстве, читавший ночи напролет Шекспира, Дарвина, Бернарда Шоу, Септимус Смит одним из первых записался добровольцем и отправился «отстаивать Англию, сводимую почти безраздельно к Шекспиру». Он отличился, получил повышение, пережил — как ему показалось, легко — смерть друга и выбрался вполне благополучно из «этого кошмара». Но вскоре понял, что радостное ощущение жизни исчезло, мир стал бессмысленным, безумие захлестнуло этого только вступившего в жизнь тридцатилетнего мужчину, как оно поймало в свой капкан сотни других Смитов. Безумие Септимуса — метафора трагедии «потерянного поколения»: они больны, они гибнут, потому что мир, видевшийся им разумным, так безобразно, так хладнокровно растоптал их идеалы.

В соответствии с законами своей поэтики Вирджиния Вулф не обличает напрямую тех, кто виновен в трагедии этих юношей, «похожих на Китса», выдержавших ужас окопной войны, но не перенесших крушения веры. Но нет-нет да и зазвенит в ее прозе сарказмом фраза, жалящая всех этих «убийц», всех этих жалких снобов: Хью Уитбрета, леди Брути, нуворишей Брэдшоу — носителей «шаблонно-гражданственного, великобританского, правительственного и заурядного духа».

По всему роману лейтмотивом проходит и тема английской колониальной политики: возникает — и не раз — в «партии» Питера Уолша, Ричарда Дэллоуэя, леди Брути. Язя нас многие детали «проскакивают», но современники Вирджинии Вулф мгновенно понимали намек, а вместе с ним и тонкую иронию писательницы. Нам надо листать энциклопедии, сверяться со справочниками, чтобы понять, какой вечер в 60-е годы и какую телеграмму имеет в виду Вирджиния Вулф, когда рассказывает о «великом» полководце, отце леди Брути. Но для людей 20-х годов все было на памяти, на слуху, сразу же вспоминался «победоносный», а если начистоту, кровавый захват английскими войсками Бирмы.

Еще в 20-е годы, когда до крушения империи было далеко. Вирджиния Вулф почувствовала социальную и психологичес-

кую опасность «миссии» англичан в Индии и других колониях. Питер Уолш, хозяин, посланец Британской империи, в которой, как известно, никогда не заходит солнце, чувствует себя крайне неуютно и в Индии, где у него, несмотря на долгие годы службы, нет корней, и в метрополии, где корни обрублены из-за долгого пребывания на чужбине. Но вот он наконец женится, привезет сюда жену с двумя маленькими детьми и будет, как мальчишка, искать работу, положит гордость в карман и пойдет на поклон ко всем этим Дэллоуэям и Хью Уитбредам. Он всюду «лишний человек». История отрезала его от времени. Недаром образом-«спутником» Питера Уолша становится в романе нож.

«Миссис Дэллоуэй» нередко называют джойсовским романом. Верно это, однако, лишь отчасти. У автора «Улисса» Вирджиния Вулф действительно училась тому, как искусство может воплотить «момент бытия», как слово обретает способность передать течение нескольких жизней. Лондон в «Миссис Дэллоуэй» тоже самое, что Дублин в «Утиссе»: город цементирует фрагментарное бытие героев. В «Утиссе» по Дублину едет кортеж вице-короля, в «Миссис Дэллоуэй» — авто с коронованной особой, за их передвижениями следят многие, если не все, герои романа.

И все же, отдавая должное силе таланта Джойса, его художественной дерзости, ломающей традицию и создающей новую, Вирджиния Вулф спорила в «Миссис Дэллоуэй» с автором «Улисса». Она не приняла чрезмерности Джойса — будь то поэтика пусть виртуозного, но беспредельного формо- и словотворчества, или потока сознания, для которого не было ничего тайного и сокровенного. Физиологизм Джойса она считала попросту проявлением дурного тона.

Здесь не место сопоставлять таланты: Джойс, конечно, масштабнее как художник, сложнее. Но поэзии в романе Вирджинии Вулф гораздо больше, чем у Джойса. Она, создавшая образ Септимуса Смита, прекрасно отдавала себе отчет, что ее современники уже заражены вирусом опасной болезни, именуемой «разобшенность». что им знакомы приступы отчаяния, тоски, беспокойства, что они испытали ощущение затерянности в мире. И в то же время в ее романе есть философское утверждение гармонии жизни, необходимости глубинных связей

71566-310
между людьми. И дело, конечно, не в авто и не в самолете, которые объединяют эти жизни. Авто и самолет — прием, не больше. Дело в позиции автора, который хочет убедить нас, что все в мире взаимосвязано, все не случайно. В этой книге изображена и радость жизни, радость, философски побеждающая даже смерть, — в самом деле, самоубийство Септимуса Смита не приводит к распаду гармонии мира. Напротив, почувствовав эту смерть, ощутив и тем самым познав ее, Кларисса узнает и нечто очень важное о себе, о жизни, которая неостановима. Эту мысль Вирджиния Вулф постоянно подчеркивает: недаром у романа нет конца. Вместо конца — начало: «И он увидел ее».

После «Миссис Дэллоуэй» роман «На маяк» (1927), наверное, самое знаменитое произведение Вирджинии Вулф. Во многом оно автобиографично: миссис и мистер Рэмзи «списаны» с родителей Вирджинии Вулф; в мистере Рэмзи, интеллектуале, профессоре нескольких университетов, семейном деспоте, фигуре нервической, раздражительной, современники легко узнавали Лесли Стивена, в миссис Рэмзи — мать писательницы, Джулию Дакворт. Да и весь уклад семьи Рэмзи с бесчисленными друзьями и знакомыми, гостящими в доме, многолюдными и шумными трапезами, изысканными литературными беседами напоминал атмосферу, царившую в доме Вирджинии Стивен.

Как и «Миссис Дэллоуэй», «На маяк» — книга необычная, это даже и не роман в традиционном смысле слова; в нем ничтожно мало внешнего действия, нет нормального, так сказать, полноценного героя. Скорее всего, Вирджиния Вулф изображает идеи, настроение и особенно духовный опыт, который, хотя и основан на быстро проходящих, скоротечных моментах бытия, мировоззренчески очень важен.

В мире Вирджинии Вулф ни одна вещь, ни один характер не пишутся как данность. Такая художественная позиция отчасти проявляется и в заглавии — «На маяк». Миссис Рэмзи, ее дети, гости собираются посетить маяк, находящийся на острове неподалеку от их дома. Поездка по разным причинам все время откладывается и осуществляется лишь через много лет, в самом конце книги, когда миссис Рэмзи, как и некоторых из ее детей, уже нет в живых. Однако маяк лишь формально сюжетный, ком-

позиционный стержень повествования. В первую очередь маяк и его неравномерные по силе и яркости лучи, которые он направляет в мир, для Вирджинии Вулф есть символ сути и смысла познания. Свет озаряет то один, то другой предмет, вдруг совсем по-иному освещает давно знакомую фигуру, привычное с детства лицо. И з-за этого света, существующего в мире независимо от людей, все мгновенно может сдвинуться с привычных мест, изменить очертания, обрести новое значение.

Среди созданных Вирджинией Вулф книг этот роман занимает особое место еще и потому, что в нем в наиболее концентрированной форме поставлены вопросы, которые не потеряли своей злободневности и сегодня. Проблемы женской судьбы, осмысленные в социальном и философском контексте, поиски женщиной своего места в семье, обществе, проблемы брака, воспитания детей, взаимоотношений с мужчиной, вечного единоробства и желанного, но такого трудного союза с ним, жажда самовыражения и препятствия на этом пути — об этом Вирджиния Вулф писала в своих романах, повестях, рассказах, Не случайно частыми героинями ее многочисленных статей и эссе становились Джейн Остин, которая, вопреки представлениям эпохи, утверждавшим, что женщине негоже писать, творила, пристроившись на краешке обеденного стола, и сестры Бронте, которые писали вопреки бедности, болезням, смертям близких, одиночеству. На примере этих героических писательских судеб Вирджиния Вулф рассказала, какой он особый, творческий, мир женщины и какова плата за внутреннюю независимость и возможность творить.

Формальными героями, так сказать, обозначенными действующими лицами романа, надо считать миссис Рэмзи, пятидесятилетнюю красивую, обаятельную женщину, мать восьмерых детей, хозяйку дома, счастливую жену; ее мужа — интеллектуала, литератора, человека академических интересов — мистера Рэмзи, их детей, многочисленных гостей, среди которых особенно интересна художница Дили Бриско.

Но все же настоящие герои этого повествования, которые и придают книге черты литературы мифологической, — дом, время, память, море, маяк.

Вирджиния Вулф понимает значение дома широко. Дом, который она, отдавая дань воспоминаниям детства и юности.

любовно воспроизводит на страницах книги, стоит одиноко на берегу моря, вдаль от шума большого города, его сутолоки, суеты. Ничто не отвлекает ни писательницу, ни нас, когда мы начинаем вглядываться в его жизнь, когда читаем и перечитываем страницы его истории. Дом со всех сторон продувают ветры, сыреют обои на стенах, плесневеют книги на полках, дом постепенно приходит в негодность — у мистера Рэмзи нет денег на его поддержание. Но не это главное. Главное, что у этого людского обиталища есть душа, рожденная из частиц душ и частиц бытия людей, населяющих его, из их страстей, духовных борений, мгновений покоя, детского смеха, ночных рыданий, шума волн, застольного веселья, вечерней тихой беседы супругов, минут их пронзительного счастья и тьмы их одиночества.

Вглядимся пристальнее в эту душу. В первой части книги, которая называется «Окно», взаимосуществуют, сталкиваются, противоборствуют два мира — женский и мужской. Женский олицетворяет миссис Рэмзи, покойно читающая у окна сказку маленькому Джеймсу. Этот мир — средоточие тепла, уюта, понимания, гармонии, симпатии и сострадания. Иной мир мужской — владение мистера Рэмзи, который весь в движении — нервно меряет шагами террасу, ищет, к чему бы придраться, ранит резкими словами сына, проводит время в ученых разговорах с гостями. Это холодный мир абстракций, логических построений, нетерпимости и самоутверждения. Во второй части, озаглавленной «Время проходит», мы становимся свидетелями не только физического угасания дома, но и его духовного оскудения: умерла миссис Рэмзи, гости больше не приезжают сюда на лето. Душа дома воскресает в третьей части книги, а вместе с ожившей душой дома начинают свое вечное кружение два начала — женское и мужское. Мистер Рэмзи, одинокий, неприкаянный после смерти жены, решает выполнить ее заветное желание — поехать на маяк. И по мере того, как цель приближается, личность миссис Рэмзи вновь обретает свою власть над окружающими. Под влиянием воспоминаний о миссис Рэмзи Лили Бриско заканчивает полотно, которое раньше ей не давалось.

В романе постоянно идет речь о времени, хотя формальная протяженность его в книге невелика. В первой части это даже не день, но лишь вечер сентябрьского дня за несколько лет до

войны. Во второй — тоже всего несколько часов, во время которых старая служанка осматривает дом и вспоминает хозяев. Самый долгий временной отрезок обозначен в последней части — около суток. Но на самом деле эти часы вбирают жизни героев, и очень важно, что между первой и последней частью проходит около десяти лет. Это уже совсем иная историческая и духовная эпоха — эпоха после Первой мировой войны. Даже не несколько фраз, а так — полуженитие сказано Вирджинией Вулф об этой первой вселенской бойне, ничего как бы и не написано о людях «потерянного поколения»: они, хоть и остались живы, но вышли из окопов людьми другой исторической эпохи, в которой уже не было места для прежних прекраснотушных фраз о чести, морали, долге. Опустошенность, кровоточащая рана сомнения, разлад с миром и с собой — следствия и приметы любой социальной ломки, которая касается не только тех, кто стреляет и убивает, но и тех, кто формируется в таких исторических катаклизмах. Треснутые души Кэм и Джеймса, неприкаянность, вырванность из привычных связей правильной упорядоченной жизни Поля, такого блестящего и очаровательного в начале книги, — человеческий образ исторического катаклизма на все времена, интересный и духовно важный всем, кто становится современником подобных социальных сдвигов.

Прекрасен женский мир, который олицетворяет в книге миссис Рэмзи. Он столь замечателен, что с ним решительно невозможно проститься. Он остается с каждым навсегда, и никакие невзгоды, трагедии не уничтожат его. Ради этого мира, ради стихии дома время в первой части книги как бы остановилось, застыло, словно море в ясную погоду, когда оно особенно похоже на вечность.

Одна половина существа Вирджинии Вулф, та, которая принадлежала английской культуре рубежа веков и даже Викторианской эпохе, высоко ценила порядок, размеренность, надежность, терпеть не могла беспорядка и разрухи, в чем бы они ни проявлялись. Другая же половина ее «я» была целиком в XX веке с его революциями, Первой мировой войной, учениями Фрейда и Юнга. И эта половина, отчасти даже бессознательно, восставала против упорядоченности.

Из этой психологической, но и исторической антинимии сознания Вирджинии Вулф родились две ее героини — миссис

Рэмзи и художница Лили Бриско. Вирджиния Вулф, столь поэтично изобразившая на страницах своей книги дом, тем не менее, прекрасно отдавала себе отчет: дни дома сочтены, на смену любящей, душевно щедрой, жертвенной миссис Рэмзи идет угловатая эмансипированная Лили Бриско, как, впрочем, и дочь самой миссис Рэмзи, Кэм. В Кэм куда меньше той спасительной женской силы, которая и была главным секретом обаяния ее матери. Иная, центробежная сила руководит поступками этих женщин — прочь от дома, в большой мир. Их идеал уже не семья, не дети. Лили Бриско, несмотря на все усилия миссис Рэмзи, так замуж и не выходит, впрочем, она не слишком сокрушается по этому поводу, скорее наоборот, видит в своей независимости от мужчин явные преимущества. Смерть миссис Рэмзи в середине книги и последовавшее за ней увядание дома символичны. Но рождение как нового типа женщины, так и новых типов отношений шло рука об руку с потерями, которые интуитивно ощущала Вирджиния Вулф, что она и дала нам почувствовать в своей книге. Мы же, люди конца XX — начала XXI века, стали уже непосредственными их свидетелями.

Книга Вирджинии Вулф — предугадание наших сегодняшних женских судеб, а потому отчасти и предостережение. Мы не найдем в ней ответа на вопрос «Что делать?». Да Вирджиния Вулф в начале XX века и не представляла себе размаха феминистского движения и его возможных потерь. Но писательница была наделена даром слышать внутренние голоса своих героинь, а потому вслушаемся в ее заветы. Может быть, они помогут нам, растерявшимся в нашем суетливом веке, строить пока хотя бы наши внутренние дома. А там, глядишь, начнет расти и здание общего дома. Вирджиния Вулф говорила, что женщине надо быть мужественной, помнить, что брак — это каждодневный духовный подвиг, что отношения супругов очень хрупки, а потому надо учиться взаимной терпимости. И еще: хотя XX век — век интеллекта, Вирджиния Вулф предостерегала от восприятия интеллекта как панацеи. Чаше гораздо более действенной может стать красота. Недаром последнее слово в книге принадлежит художнице Лили Бриско. Впрочем, и это не совсем так. Последнее слово в этом романе принадлежит его главному герою — Дому.

Ведь только когда Лили Бриско обрела в своих воспоминаниях ушедшую из жизни миссис Рэмзи и все то, что она собой олицетворяла, она смогла завершить свое полотно.

«В своих критических работах В.Вулф романист больше, чем в романах», — писал Э.М.Форстер. Парадокс, но, как во многих парадоксах, в нем есть зерно истины. Безличная в романах, Вирджиния Вулф озарила критические работы обаянием своей личности — в них больше от нее самой, полнее ощущается ее индивидуальность. Как в старом, добротном классическом романе, она запросто ведет беседу с читателем: «Здесь я ближе к своему истинному «я», здесь я почти знаю, как избежать помпезности, риторики, как получать удовольствие от милых пустяков. Здесь мне вольнее дышится».

Литературно-критическая деятельность не эпизод в творческой биографии писательницы. Вирджиния Вулф занималась критикой не раз от разу, но на протяжении всей своей жизни. Ее первая рецензия появилась в 1904 году на страницах газеты «Гардиан», несколько позже она стала постоянным обозревателем литературного приложения к лондонской «Таймс» — «Таймс литерери сапмент», и связь ее с этим крупнейшим изданием продолжалась более тридцати лет. Из-под ее пера вышли сотни рецензий, обзоров, статей, эссе. Одни были кратки, другие развернуты и обстоятельны, написаны на случай, или, напротив, как воплощение давно увлекшей ее мысли. Но какими бы они ни были, их отличают высокий профессионализм, превосходное знание предмета. На сегодняшний день далеко не все критическое наследие Вирджинии Вулф собрано, но то, что известно, составляет пять солидных томов.

В своих дневниках и эссе Вирджиния Вулф — просветитель, стремящийся открыть читателю-современнику непреходящую ценность и живучесть английской и мировой классики. В ярких, запоминающихся деталях, с юмором она рисует творческие портреты писателей: Донна, Остен, Конрада, Дефо, Монтеня, Аддисона, Хэзлита; на примере их книг, их художественных судеб она выделяет проблемы, имеющие непреходящее эстетическое и нравственное значение, показывает, что обеспечило этим писателям второе рождение в современ-

ной литературной обстановке. Жизнь художественному произведению, с точки зрения Вирджинии Вулф, дает не тот или другой метод, но способность автора быть верным избранному углу зрения — лишь тогда у него есть надежда убедить читателей в истинности опыта, воскрешенного на страницах его книг. «Правда видения» — понятие, к которому очень часто прибегает в своих эссе писательница, вот что делает для нее в равной степени интересными и значительными произведения Пруста, Тургенева, Конрада, Диккенса, Кэрролла, Дефо, Остин, сестер Бронте, Стерна. Этой правдой обладал Дефо, когда погружал читателя в мир тончайших наблюдений над характерами и нравами, этой правдой в совершенстве владела и Эмили Бронте, когда увлекала его рассказом о трагической любви своих героев; ею владел и Кэрролл, ожививший для читателя мир детства и сна. Причудливый мир Лоренса Стерна столь же интересен Вирджинии Вулф, как безупречность стиля и нравственного чувства у Джейн Остин.

В ставшем уже почти хрестоматийным эссе «Мистер Беннет и миссис Браун», где новое искусство — и это очень важно для понимания всей творческой позиции Вирджинии Вулф — противопоставляется отнюдь не всему классическому искусству, но лишь литературе эдвардианской.

«Великие эдвардианцы» — А.Беннет, Дж.Голсуорси, Г.Уэллс, — не без иронии заметила Вирджиния Вулф, «кроили свои тридцать две главы по модели, которая все менее и менее отражает наше видение мира». Они уверенно сообщали читателям все, что знали о героях, что те делали и зачем, что при этом думали и почему и как нам следует понимать их мысли и дела. Когда же им хотелось сообщить кое-что о субъективных представлениях своих героев, они чаще всего предувещивали своих читателей словами: «Ему казалось, что...»

О том, какой мир должен предстать на страницах ее романов, Вирджиния Вулф написала в одном из своих программных эссе «Современная литература»: «Всмотритесь хоть на минуту в обычное сознание в обычный день. Мозг получает мириады впечатлений — обыденных, фантастических, ми-

МОДЕТНЫХ или врезающихся с твердостью стали. Со всех сторон наступают они, этот неудержимый ливень неисчисли-МЫХ частиц, и по мере того, как они падают, как они складываются в жизнь понедельника или вторника, акценты меняются. важный момент уже не здесь, а там, так что если бы писатель был свободным человеком, а не рабом, если бы он мог руководствоваться собственным чувством, а не условностями, то не было бы ни сюжета, ни комедии, ни трагедии, ни любовной интриги, ни развязки в традиционном стиле и, возможно, ни единой пуговицы, пришитой по правилам портным с Бонд-стрит». И дальше: «Давайте описывать мельчайшие частицы, как они западают в сознание, в том порядке, в каком они западают, давайте пытаться разобрать узор, которым все увиденное и случившееся запечатлелось в сознании, каким бы разорванным и бессвязным он нам ни казался. Давайте не будем брать на веру, что жизнь проявляется полнее в том, что принято считать большим, чем в том, что принято считать малым».

Вирджиния Вулф писала, что истинный художник должен «любой ценой обнаружить мерцание того сокровенного пламени, которое посылает свои вспышки сквозь мозг, и чтобы передать это, он отбрасывает с величайшей смелостью все, что представляется ему побочным, — будь то достоверность, связность или любой другой из тех указателей, которые поколениями направляли воображение читателя, когда ему нужно было представить то, чего он не может ни потрогать, ни увидеть...» Разумеется, никто из эдвардианцев не мог одобрить произведений, отданных на откуп неустойчивой игре воображения. В конечном счете речь шла о разном подходе к реальности мира, которую изображают писатели: одни уверенно осваивают ее, другие же ни в чем не уверены, более того, возводят эту неуверенность в философский и литературный закон.

Обосновывая свою правоту, Вирджиния Вулф обращалась к русской литературе. Русская тема — особая проблема в творчестве и в жизни Вирджинии Вулф. Русских писателей она воспринимала и как революционеров формы: они с легкостью отбрасывают повествовательные условности ради того, чтобы в нервных, сбивчивых, путаных фразах описать

главное, они никогда не выпускают из поля своего зрения жизнь души. Она изучала русский язык, и, судя по ее дневниковым записям, это было не мимолетное увлечение, но осознанное намерение приблизиться к культуре, которую для нее олицетворяли великие имена Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова. Она не раз писала о них, неплохо знала и Аксакова, и Горького, в своем издательстве «Хогарт Пресс» печатала русских классиков, а ее статья «Русская точка зрения» — не менее программная, чем «Мистер Беннет и миссис Браун». Русские, подчеркивала она, обладают тем, чем еще только предстоит овладеть англичанам с «их безупречным чувством юмора и комического», — умением писать о том, что имеет непреходящее значение, но при этом оставаться в гуще событий, самых жгучих проблем своего времени. Недаром героини ее рассказов (Саша в рассказе «Итог») специально названы на русский манер, другие (Розалинда — «Лапин и Лапина») внешним, а тем более внутренним обликом напоминают простых, но мудрых сердцем героинь русских писателей.

Особенно почитала Вирджиния Вулф Толстого. «Кажется, ничто не ускользает от него. Ничто не промелькнет незамеченным. Он замечает красненькое или голубенькое детское платьице и то, как лошадь помахивает хвостом, слышит звук кашля и видит движение человека, пытающегося засунуть руки в зашитые карманы. И то, что его безошибочный глаз наблюдает в манере кашлять или в движениях рук, его безошибочный ум соотносит с чем-то потаенным в характере, так что мы знаем его людей не только по тому, как они любят, не только по тому, какие у них взгляды на политику и бессмертные души, но и по тому, как они чихают и давятся от кашля...»

И все же Толстой пугал Вирджинию Вулф своей этической определенностью, а минутами она испытывала страх и даже ужас перед этим всеобъемлющим, пронзительным взглядом, охватывающим, вбирающим в себя всю жизнь.

Русские преподали Вирджинии Вулф и еще один важный урок — урок демократизма. Потомственная аристократка, в запале спора называвшая себя «снобом», она умела с глубоким, подлинным уважением писать о простых, обычных лю-

дах. Она не унижала их своим снисходительным сочувствием, в каждом видела личность, достойную внимания писателя.

В 1941 году Вирджинии Вулф не стало. Как шекспировская Офелия, она бросилась в реку, да еще, заказав себе путь назад, положила в карманы платья камни. Шла война, в дом Вулфов в Лондоне попала бомба, сгорела библиотека, погибли книги, символ разума и цивилизации, ее друзья. Она кончала роман «Между актами», силы были на пределе, и, как всегда, ей казалось, что все получалось не так, читатели не поймут ее замысла. Она еще до конца не оправилась от потрясения: в Испании погиб ее любимый племянник, молодой поэт Джулиан Белл, боец Интернациональной бригады. И вообще мир, который собирался подмять и уничтожить Гитлер, в котором не было места для нее и для ее близких, страшил ее.

Все, кто знал Вирджинию Вулф, не могли примириться с ее уходом. Смерть так не вязалась с обликом этой женщины, ненасытно любившей жизнь.

Ей было интересно все: литературные и бытовые новости. Остроумная, оживленная, она была душой и украшением любой компании. Для Джулиана Белла не было в детстве лучшего подарка, чем приезд тетки: «Приедет Вирджиния — будет весело, посмеемся».

И у нас, ее сегодняшних читателей, есть возможность посмеяться над шутками Вирджинии Вулф. Автор серьезнейших романов и эссе, она написала биографию собаки, спаниеля Флаша, который был верным другом английской поэтессы Элизабет Браунинг. Работая в 1933 году над биографией видного критика, «блумсберийца» и ее друга Роджера Фрая, Вирджиния Вулф почувствовала — необходимо сделать передышку. Труден был и материал — эстетика Фрая, к тому же ей был слишком близок и дорог сам Фрай, чтобы писать легко и непринужденно. Вот она и решила написать биографию полегче.

Нет, мы не оговорились, «Флаш» — биография собаки. Или если взглянуть на эту повесть с сугубо литературной точки зрения, то это «роман воспитания», только герой —

умный, милый, добрый спаниель. Но здесь все «по-настоящему», совсем как в «Дэвиде Копперфилде». История семьи Флэша и его древнего рода (простите — породы), рассказ о детстве и отрочестве (первая влюбленность, муки ревности), о годах странствий (Флэш вместе с хозяйкой переезжает в Италию); о зрелости и приходящей с ней мудрости, о смерти. Не обошлось и без детектива — Флэша похитили. Есть здесь даже письма, пишет их, правда, не Флэш, а Элизабет Браунинг. Из ее переписки (ну чем не викторианский роман!) мы черпаем новые подробности о характере, личности Флэша и в то же время узнаем немало и о чете Браунингов. И, как в добропорядочном научном исследовании, здесь есть комментарии.

Может быть, именно потому, что «Флэш» — пародия, мы видим особенно ясно сам принцип действия механизмов, который можно назвать «литературная критика» Вирджинии Вулф. Что бы она ни писала, она всегда создает классическое, легкое английское эссе, полное иронии, юмора, тонких наблюдений над миром и человеком. Читателя не покидает ощущение, что она ведет именно с ним и только с ним разговор запросто, и потому мы — все внимание, наше сознание пробуждается, мы уже готовы думать над самыми серьезными проблемами, которых она словно и не касается. Секрет ее поразительного дара в том и состоит, что она умела увидеть в характере, в судьбе главное — вот почему, закрывая книгу, мы немало узнаем не только о спаниеле Флэше, но и о поэзии Браунингов и даже об английском романтизме.

Талант всегда щедр и плохо сочетается с декларациями и манифестами. У Вирджинии Вулф есть тяга к модерну, есть формальный эксперимент: ее проза поэтична, аллитерационна, ассоциативна, ее отличает некоторый герметизм. В самом деле, разве без подсказки можно, например, понять, почему в «Фазаньей охоте» со стены падает портрет короля Эдуарда? И все же ее творчество плохо укладывается в рамки «измов». Рядом с откровенно импрессионистическим «Пятном на стене» — рассказ «Наследство», произведение сюжетное, в котором легко угадывается флюберовско-мопассановская и, конечно, чеховская традиция. А в конце жизни, не удовлетворенная экспериментальной прозой романа

«Между актами», она записала в дневнике: «Моя новая книга будет совсем иной».

Мы познакомились с произведениями Вирджинии Вулф через семьдесят лет после их создания. Отсрочка немалая, и она в значительной степени определяет особенности нашего сегодняшнего их восприятия. Вряд ли в начале XXI века они поразят читателя эстетической новизной, экспериментальным духом. После того как в наш литературный обиход вошла проза Фолкнера, Томаса Вулфа, Набокова, Кортасара, внутренний монолог Вирджинии Вулф, переходящий в «поток сознания», изощренная игра со временем, неканоническое обращение с традиционной поэтикой — все ее находки, поражавшие современников, кажутся теперь естественными. А ключ к ее творческой мастерской, к миру этой необычайной, талантливой, восприимчивой ко всем «звукам, тонам, запахам бытия» писательницы — в ее дневниках.

Е.Ю.Гениева

* ♦ *

«Все же я единственная женщина в Англии, которая вольна писать, что хочет», — заметила однажды В.Вулф.

В своих дневниках, которые она вела с 1915 года — последняя запись датируется 8 марта 1941 года, через четыре дня В. Вулф ушла из жизни, — она писана обо всем, что произошло с ней, о людях, с которыми встречалась, о книгах, которые читала. И самое важное — о произведениях, над которыми работала: романах, рассказах, эссе, статьях. Листы бумаги, исписанные ее торопливым почерком, сначала скреплялись скрепкой, потом переплетались в томики. Она оставила 26 томов дневников.

«Дневники слишком личная вещь, чтобы публиковать их целиком, — написал ее муж Леонард Вулф, подготовив в 1953 году к печати избранный том дневников. — Я внимательнейшим образом прочитал их и отобрал практически все, что имеет отношение к ее творчеству...

Замыслы Вирджинии Вулф, предметы ее внимания, ее творческий метод теперь станут понятнее и ближе читателю. Перед ним раскроется удивительная психологическая картина, благодаря которой он проникнет в ее лабораторию художника. Профессор Бернард Блэкстоун был убежден, что Вирджиния Вулф — «великий художник», что «ей удалось блистательно совершить то, что другие не решались сделать». Я согласен с профессором Блэкстоуном, в противном случае я бы не осмелился публиковать эти воспоминания. Она была настоящим художником, а ее произведения — подлинными произведениями искусства.

Из дневников видно, с какой мощной энергией, целеустремленностью, сосредоточенностью отдавалась она творчеству, как неутомимо трудилась она — писала, переписывалась и вновь переписывала свои книги.

Я надеюсь, что читатель не забудет, что перед ним — малая часть дневников Вирджинии Вулф. Она не всегда помнит чата, где она находилась в описываемый ею день, часто называла тех, с кем встречалась, уменьшительными именами, а порой ограничиваясь инициалами, Я подготовил небольшой список имен, упоминаемых в дневниках».

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЬНИЦЫ

(1918-1941)

Понедельник, 4 августа

Я решила не дожидаться покупки новой тетради и записать в старой свои впечатления от Кристины Россетти и от Байрона. К тому же, у меня почти не осталось денег после того, как я в большом количестве накупила Леконта де Лиля. На Кристине великий знак поэтессы от рождения, и ей как будто об этом отлично известно. Но если бы я подала на Бога в суд, то вызвала бы ее как одну из главных свидетельниц. Читать ее грустно. Сначала она отказалась от любви, которая значила для нее не меньше самой жизни, потом от поэзии ради, как ей казалось, требований веры. У нее были два достойных поклонника. У первого, несомненно, заметны странности. Но у него была совесть. Тем не менее, Кристина могла выйти замуж только за такого Кристиана, каким хотела его видеть. Он же выдерживал это не дольше нескольких месяцев зараз. В конце концов римский католицизм взял в нем верх, и она потеряла его. Хуже было с мистером Коллинзом — по-настоящему милым ученым — человеком не от мира сего — преданным почитателем Кристины, которого она никак не могла наставить на путь истинный. Поэтому ей приходилось самой являться вето дом на нежные свидания, что она и делала до конца жизни. Свою поэзию она выхолостила. Мало того, что принялась перелагать стихами псалмы, но и оригинальные стихотворения стала сочинять исключительно на христианские сюжеты. Таким образом, как мне кажется, она истощила свой великолепный дар, которому требовалось всего лишь ее разрешение, чтобы принять куда более замечательную форму, чем, скажем, дар миссис Браунинг. Писала она, как правило, очень легко; с детской непринужденностью, что свойственно, как принято считать, истинному, но неразвитому таланту. У нее был природный певческий дар. Но она

еще умела думать. И фантазировать. Нетрудно представить ее грубой и остроумной. И вот в награду за все свои жертвы она умирает в страхе, не очень веря в спасение. Признаюсь, однако, что, листая ее стихи, я с неизбежностью возвращалась к тем, которые знала прежде.

*Среда, 7 августа**

В ашемский дневник я до последней мелочи изливаю все, что попадает в поле моего зрения: цветы, облака, пчелы, иены на яйца; но ведь кроме этого писать больше не о чем. Трагедия — раздавленная гусеница, счастье — вечернее возвращение из Льюиса слуг, нагруженных военными книжками для Л. и «English Review» для меня, «Лигой наций» Брейлсфорда и «Блаженством» Мэнсфилд. «Блаженство» я отбросила с воплем: «С ней покончено!» В самом деле, мне непонятно, как можно оставаться честной женщиной и честной писательницей и творить такое. Приходится, к сожалению, принять тот факт, что ее разум — очень тонкий слой почвы, всего в дюйм-два, под которым сплошной бесплодный камень. «Блаженство» — довольно длинная вещь, и это давало ей шанс копнуть глубже. А она удовлетворилась внешним изяществом; вся ее концепция — дешевка; к тому же, здесь ни на грош проницательности (хоть какая-то должна же быть) небанально мыслящего человека. И пишет она плохо. В результате, повторяю, у меня сложилось впечатление о ней как о черством и холодном человеке. Потом прочитаю еще раз, но не думаю, что изменю свое мнение. Она будет продолжать в том же духе к полному своему и Марри удовольствию. Хорошо, что они не приехавши. Или нелепо толковать рассказ по характеру?

Так или иначе, я с удовольствием вернулась к моему Байрону. У него, по крайней мере, не отнимешь мужской привлекательности. В самом деле, поразительно, до чего мне легко представить его влияние на женщин — особенно на глупеньких и не очень образованных женщин, которые не умели подняться до него. К тому же почти все хотели его перевоспитать. С самого

* Печатается по оригиналу. Какие бы ни были несоответствия в датировке записей, В.Вулф и Л.Вулф (состивигель) не сочли нужным дать объяснения на этот счет. (Здесь и далее примечания переводчика).

младенчества у меня была привычка (как говорил Гертлер, словно доказывая особую примечательность своей персоны) досконально изучать биографию и дополнять возникающий в моем воображении образ любимыми подробностями, которые мне удавалось отыскать. Но в разгар страстной любви из самого неподходящего издания вдруг выскакивало имя Каупера, или Байрона, или кого-то другого, и мое творение становилось далеким и ничем не отличающимся от прочих мертвецов. Меня впечатляет поразительная ничтожность поэзии Б. — той поэзии, которую Мур цитирует с почти несказанным восхищением. Почему принято думать, будто его наиболее вдохновенные стихотворения в «Альбоме»? Читаются они не лучше, чем стихи Л. Э. Л. или Эллы Уилер Уилкоккс. Из-за них он не сделал того, что, как сам осознавал, мог бы сделать, то есть написать сатиру. Сатиры (пародии на Горация) и «Чайльд Гарольда» он привез из путешествия на Восток. У него не было сомнений в том, что «Чайльд Гарольд» — лучшая из когда-либо написанных поэм. Тем не менее, в юности ему не хватало веры в свою поэзию, что в случае такого самоуверенного и категоричного человека доказывает отсутствие таланта. Вордсворты и Кятсы безоговорочно верят в себя. Кстати, Байрон немного напоминает мне Руперта Брука, хотя для Руперта это не комплимент. Как бы то ни было, в Байроне было что-то необыкновенное, и это доказывают его письма. Во многом он был замечательной личностью, но так как никто не высмеивал его жеманство, то со временем он стал больше похож на Хораса Коула, чем хотелось бы. Посмеяться над ним могла бы только женщина, но женщины его боготворили. Я еще не добралась до леди Байрон, но, полагаю, она тоже осуждала его вместо того, чтобы над ним смеяться. И он стал байронической личностью.

Пятница, 8 августа

В отсутствие человеческого интереса к себе, благодаря которому обретаешь покой и радость жизни, можно заниматься и Байроном. Заметив свою готовность, несмотря на преграду в сто лет, влюбиться в него, боюсь, мое суждение о «Дон Жуане» немного пристрастно. Полагаю, это самая читаемая поэма такого объема из всех, когда-либо написанных: отчасти благодаря пружинистой, беспорядочной, бессистемной, несущейся вскачь

форме. Такая форма — сама по себе открытие. Ее искали и прежде, но напрасно, — растягивающуюся форму, способную вместить все, что только приходит в голову. С ее помощью Байрон может описывать любое настроение, каким оно нисходит на него, может озвучивать любые занимающие его мысли. Так как он не стремится к поэтичности, то нет и следа его злого гения — фальшивой романтичности и образности. Когда он серьезен — он искренен и может писать о чем угодно. И он пишет шестнадцать канто, ни разу не почувствовав нужды в шпорах. Очевидно, у него был быстрый находчивый ум, который мой отец, сэр Лесли, считан исключительно мужской привилегией. Я утверждаю, что такие неправильные книги гораздо интереснее правильных, благоговейно почитающих иллюзии. Все же примеру Байрона следовать нелегко; ведь вольные и легкие вещи может успешно сотворить лишь искусное и зрелое перо. Байрона переполняли мысли — и это придает его стихам такую плотность, что посреди чтения я позволяю себе маленькие экскурсии по окрестностям или по комнате. А сегодня вечером я доставлю себе удовольствие и дочитаю поэму до конца — хотя, если учесть радость почти от каждой стансы, мне непонятно, почему это называют удовольствием. Впрочем, и иначе не скажешь, о какой бы книге ни шла речь, о хорошей или о плохой. Вот и Мэйнард Кейнс говорил, что всегда отделяет рукой печатающиеся в конце объявления, чтобы точно знать, сколько страниц еще остаюсь.

Понедельник, 19 августа

Кстати, я одолела «Электру» Софокла, которая мне плохо давалась, хотя в общем-то это не такое уж страшно трудное чтение. Каждый раз я заново восхищаюсь великолепным сюжетом. Кажется, его нельзя было не воплотить в хорошую пьесу. Не исключено, что все дело в долгой разработке традиционных сюжетов, которые придумывались, улучшались и освобождались от всего лишнего стараниями бесчисленных актеров, сочинителей и критиков, пока не становились похожими на отполированные морем стекляшки. К тому же если публика обо всем знает заранее, то на этом можно отлично сыграть и обойтись без лишних слов. Как бы то ни было, мне всегда казалось, что невозможно произнести одинаково слово за словом весь текст и придать нужный вес каждой фразе и каждому намеку, поэтому очевид-

ная скудость слов — лишь поверхностное впечатление. Однако есть другая опасность — неправильно прочесть эмоциональный контекст. Мне всегда обидно, когда я обнаруживаю, как много упускаю в сравнении с Джеббом; разве что у меня возникает сомнение, не видит ли он слишком много, — полагаю, такое не исключено, если все время работать с плохими английскими пьесами современных авторов. Наконец, столь же сильным, сколь трудно объяснимым, остается особое очарование греческого языка. С первых же слов нельзя не ощутить огромную разницу между оригинальным текстом и переводом. Героическая женщина есть героическая женщина и в Греции, и в Англии. Это тип Эмилии Бронте. Как мать и дочь Клитемнестра и Электра должны любить друг друга, и, возможно, именно любовь, приняв неправильную форму, обернулась лютой ненавистью. Э. — тип женщины, для которой семья превыше всего; отец. У нее гораздо сильнее развито почтение к традиции, чем у ее братьев; и она ощущает себя дочерью отца, а не матери. Странно, но обычаи греков, какими бы они ни были ложными и смешными, никогда не производят впечатление мелочных и недостойных, в отличие от наших английских обычаев. Электра вела куда более замкнутый образ жизни, чем женщины середины Викторианской эпохи, однако это никак не отразилось на ней, разве что сделало ее суровой и величественной. Ей не полагалось выходить на прогулку в одиночестве; а у нас нельзя было обойтись без горничной и экипажа.

Вторник, 10 сентября

Хотя в Сассексе не я одна читаю Мильтона, все же запишу свои впечатления от «Потерянного рая», пока они не забылись. Впечатления довольно четко определяются тем, что осталось у меня в голове. Многие загадки я пропустила, не остановившись на них. Наверное, я слишком легко скользила по тексту, чтобы по-настоящему насладиться им. Однако мне понятно, и до какой-то степени я даже согласна с утверждением, что он доступен лишь человеку, обладающему высочайшей ученостью. Меня поражает явная непохожесть этой поэмы ни на одну другую. Полагаю, все дело в величественной отчужденности, в обезличенности чувств. Я никогда не читала и Каупера на диване и представляю унижительность диванного чтения **для** «По-

терянного рая». Материя Мильтона состоит из великолепных, потрясающих, мастерских описаний ангельских тел, битв, полетов, обиталищ. Он торгует ужасом и безмерностью, убожеством и величием, но никогда — чувствами человеческого сердца. Существует ли другое великое творение, проливающее столь же мало света на радости и горести ее создателя? Поэма не помогла мне лучше узнать жизнь; я почти не могу представить, что Милтон жил на самом деле и был знаком с мужчинами и женщинами, разве что со сварливицами, давшими ему сведения для описания брака и обязанностей женщины. Он был первым защитником мужчин, однако присущее ему пренебрежительное отношение к женщине берет начало в его собственном невезении и, по-видимому, играет злую роль в семейных скандалах. Но до чего же у него все уравновешено, мощно и искусно! Какая поэзия! Смеею предположить, что после него даже Шекспир может показаться несколько мятущимся, суетным, увлекающимся и несовершенным. Смеею предположить, что его поэзия — это эссенция, которая в более или менее разбавленном виде составляет почти всю остальную поэзию. Несказанная красота стиля, раскрывающаяся нюанс за нюансом, способна удержать взгляд надолго после того, как становится понятным развитие темы. Глубоко внутри улавливаются добавочные сочетания, отражения, счастливые находки и мастерство. Более того, хотя у Мильтона нет ничего, подобного кошмару леди Макбет или воплю Гамлета, нет ни жалости, ни сочувствия, ни интуиции, его персонажи величественны; в них воплощено многое из того, что люди думают о своем месте во Вселенной, о своем долге перед Богом и верой.

Понедельник, 20 января

Когда я смогу купить тетрадь, то перепишу все это, поэтому опускаю обычные новогодние завитушки. На сей раз дело не в деньгах, просто я не в состоянии, отлежав две недели в постели, совершить поход на Флит-стрит. Правая рука болит, словно у служанки в конце дня. Любопытно, что я ощущаю такую же одеревенелость, когда пытаюсь манипулировать фразами, хотя на самом деле умственно должна быть экипирована лучше, чем месяц назад. Вырванный зуб уложил меня на две недели в постель, к тому же я так устала, что у меня началась головная боль, — это была долгая и мучительная история, боль то отступала, то вновь надвигалась, как туман в январский день. Следующие несколько недель мне позволено писать по часу в день, а так как утром я не писала совсем, то могу частично воспользоваться своим правом теперь, когда Л. нет дома, а у меня накопились долги за январь. Отмечаю, однако, что дневниковые записи не могут считаться прозой, поскольку я только что перечитала прошлогодний дневник и была потрясена стремительным галопом, каким он несется по булыжникам, раскачиваясь и накрываясь иногда почти до невозможности. И все же, если бы я не писала быстрее, чем печатает самая быстрая машинистка, если бы останавливалась и задумывалась, дневника вообще не было бы; преимущество моего метода заключается в том, что случайно сметаешь в кучу несколько бессвязных мыслей, которые, стоит лишь задуматься, обязательно выкинешь, хотя они-то как раз и есть настоящие сокровища. Если Вирджиния Вулф в пятьдесят лет, решившись с помощью этих тетрадей написать воспоминания, не сможет составить фразу, какой она должна быть, я выражу ей свое сочувствие и напомним о существовании камня, в котором с моего позволения она

превратит эти страницы во множество черных угольков с красными глазками. А сейчас я завидую ее будущим трудам, для которых делаю заготовки! О чем еще мечтать? Эта мысль уже избавила меня от некоторых страхов в преддверии моего тридцать седьмого дня рождения в следующую субботу. Отчасти дня пользы стареющей дамы (никакие отговорки не принимаются: пятьдесят лет почтенный возраст, хотя я предвижу ее возражения и согласна, что это еще не старость), отчасти для строительства прочного фундамента под новый год я собираюсь все вечера предстоящей затворнической недели писать о моих дружбах и их теперешнем состоянии, о характерах моих друзей, об их работах и прогнозах на будущее. Пятидесятилетняя дама скажет, насколько я сумела приблизиться к истине; однако на сегодня достаточно (прошло всего пятнадцать минут).

Среда, 5 марта

Только что вернулась после четырех дней в Ашеме и одного в Чарльстоне, Жду Леонарда, а мыслями все еще в поезде, что совсем не способствует чтению. Но, боже мой, какое множество у меня теперь книг! Все сочинения мистера Джеймса Джойса, Уиндхема Льюиса, Эзры Паунда, чтобы я могла сравнить их с собранием прозы Диккенса или миссис Гаскелл; а еще есть Джордж Элиот; и наконец, Гарди. И я только что прочитала тетю Энни* — с максимальной терпимостью. С тех пор как я сделала последнюю запись, она умерла во Фрешуотере, сегодня ровно неделя, и вчера была похоронена в Хэмпстеде, откуда шесть-семь лет назад мы смотрели на тонувший в желтом тумане Ричмонд. Мне кажется, мои чувства к ней отчасти похожи на лунный свет; или, скорее, они навеяны чувствами других. Папа любил ее; наверное, она оставалась последней, кто принадлежал миру Гайд-Парк-гейт девятнадцатого столетия. В отличие от большинства старых дам, она как будто никого не желала видеть; ей становилось, как я иногда думаю, больно при виде нас, словно мы ушли далеко и напоминали о несчастье, о котором ей хотелось забыть. Кроме того, в отличие от большинства старых Тетушек, ей хватаю ума понимать, насколько

* Леди Ритчи, дочь Теккерей и сестра первой жены Лесли Стивена, отца В.Вулфа. (В примечаниях использованы сноски Леонарда Вулфа.)

мы расходимся во взглядах на современную жизнь; и это, вероятно, заставляло ее вспоминать — вряд ли она думала об этом в своем кругу — о старости, обветшалости, угасании. Что до меня, то ей не было нужды волноваться, ибо я в самом деле ее обожала; и все-таки мы принадлежаTM к разным и очень не похожим поколениям. Два или, может быть, три года назад мы с Л. поехали навестить ее; нашли как будто усохшей, но в боа из перьев, она одиноко сидела в гостиной, почти точной, правда уменьшенной, копии ее прежней гостиной; то же приглушенное очарование восемнадцатого столетия, старые портреты и старая посуда. Нас ждат чай. Она держалась немного отстраненно и более, чем немного, печально. Я спросила ее об отце, и она рассказала, что тогдашние молодые люди смеялись «громко и грустно» и что их поколение было счастливым, но эгонстичным; а наше кажется ей утонченным и ужасным; но у нас нет таких писателей, какие были у них. «Кое у кого есть намек на величие, у Бернарда Шоу, например, но лишь намек. Приятно было знать их всех как обыкновенных смертных, а не великих мужей». Потом последовал рассказ о Карлейле и об отце; Карлейль сказал, что он скорее умоется из грязной лужи, чем станет журналистом. Она опустила руку, как мне помнится, то ли в сумку, то ли в шкатулку, стоявшую рядом с камином, и сообщила, что у нее есть на три четверти написанный роман, который ей не удается закончить. Не думаю, чтобы она дописала его; однако я уже рассказала обо всем, немного приукрасив, для завтрашней «Таймс». Я написала Эстер, но очень сомневаюсь в искренности своих чувств!

Среда, 19 марта

Жизнь с такой скоростью громоздит одно на другое, что мне не хватает времени подробно описывать быстро растущую гору впечатлений, которые я отмечаю здесь, пока они карабкаются вверх. Я собиралась написать о Барнеттах и о любопытной омерзительности тех людей, которые самодовольно лезут грязными руками в чужие души. Барнетты запускают в них руки по локоть; и если у филантропов бывают окровавленные руки, то лучшего примера не найти; потом же, хотя их ни о чем не спрашивают и ни в чем не подозревают, они вдруг выговариваются, почти сводя на нет мое критическое отношение к ним. Неужели мое неприятие всего лишь интеллекту-

альный снобизм? Разве снобизм — прийти в ярость, услышав, как она говорит: «Потом я приблизилась к Великим Вратам», — или заявляет, что Бог — добро, а дьявол — зло? Неужели для таких, как они, труд обязательно подразумевает грубость? Сколько самодовольной силы в их любовании собой! Им никогда не приходит в голову вопрос, правильно ли они поступают, — они всегда бездумно бегут вперед, пока, естественно, их предприятия огромны и сверхприбыльны. Кстати, неужели разумная и проницательная женщина станет цитировать пеаны собственному гению? Наверное, корень всего этого в низкопоклонстве необразованных людей и всевластии хозяев над бедняками. Вновь и вновь я испытываю отвращение к господству одного человека над другим; к любому виду тирании, к навязыванию чужой воли. Наконец, мой литературный вкус гнушается гладкописью, без которой невозможно расцвести пышной удаче, похожей на огромный пион. Однако я лишь царапаю поверхность того, что чувствую к двум увесистым томам*.

Четверг, 27 марта

...Л.** провел два последних утра и вечера за чтением «Ночи и дня»***. Признаюсь, его вердикт, наконец-то произнесенный сегодня утром, доставил мне огромное удовольствие; не знаю, какую поправку следует сделать на преувеличение. По моему мнению, «Н. и д.» гораздо более зрелая, целостная и убедительная книга, чем «Путешествие»****; и это не случайно. Полагаю, мною все сделано, чтобы оправдаться от обвинений, будто я разменяла себя на ничего не значащие чувства. Уверена, второго издания не будет. И все же не могу не думать о том, что английская литература, какая она есть, в оригинальности и искренности довольно легко выдерживает сравнение с большинством современных литератур. Л. находит эту философию очень грустной. Она слишком согласуется с тем, что он говорил вчера. И все же, если приходится посто-

* Rev. Canon S.A. Barnett; His Life, Wbrk and Friends, By his wife. Mrs. Barnett, C.V.E. (Murray).

** Леонард Вулф.

*** Роман В. Вулф.

**** Роман В. Вулф.

янно иметь дело с людьми и говорить, что думаешь, как избежать грусти? Я не признаю безнадежность: однако зрелище очень странное; и если имеющиеся ответы не подходят, надо искать другие, но отказ от старого, когда не имеешь ни малейшего представления, что предложить взамен, дело печальное. Все же, скажите на милость, какие ответы предлагают, например, Арнольд Беннегг или Теккерей? Разве положительные ответы — счастливое разрешение конфликтов — можно принять, если имеешь хоть немного уважения к своей душе? Итак, закончилось ненавистное печатание на машинке, и когда я допишу эту страницу, то назначу Джеральду* встречу на понедельник. Кажется, я еще никогда не радовалась работе так, как радовалась, дописывая вторую половину «Ночи и дня». В самом деле, эта книга ни разу не утомила меня, как бывало с «Путешествием»; и если личный покой и заинтересованность автора — хороший знак, то у меня есть надежда доставить удовольствие хотя бы нескольким людям. Интересно, смогу ли я когда-нибудь перечитать книгу? Неужели наступит такое время, когда я буду читать свои писания, не краснея, не вздрагивая и не желая куда-нибудь спрятаться?

Среда, 2 апреля

Вчера отнесла Джеральду «Ночь и день» и имела с ним полудомашний, полупрофессиональный разговор в его кабинете. Мне не нравится клубное отношение к литературе. Во всяком случае, у меня появляется яростное желание хвастаться: и я хвасталась Нессой**, Клайвом***, Леонардом, их умением зарабатывать много денег. Потом мы развернули рукопись, и ему понравилось название, но он вспомнил, что у мисс Мод Энсли есть роман «Ночи и дни», — это чревато проблемами с Мьюди. Тем не менее, он уверен в своем желании издать мою книгу; мы были вполне милы друг с другом: я обратила внимание, что волосы у него стали совсем седыми и между волосинками заметно некоторое расстояние; его голова похожа на редко засеянное поле. Пила чай на Гордон-сквер.

* Джеральд Дакиорь

** Ванесса Белл.

*** Клайв Белл.

Суббота, 12 апреля

Краду десять минут у «Молль Фленлерс», которую не успела закончить вчера, как требовало мое расписание, поддавшись желанию закрыть книгу и отправиться в Лондон. Однако я смотрела на Лондон глазами Дефо, в особенности на белые городские церкви и дворцы — с Хангерфордского моста. Его глазами я смотрела на торгующих спичками старух; и бегущие по грязным тротуарам Сент-Джеймс-сквер девицы казались мне сошедшими со страниц «Роксаны» или «Молль Флендерс». Да, он несомненно великий писатель, если через двести лет произвел на меня такое сильное впечатление. Великий писатель — а Форстер* никогда не читал его книг! Возле Библиотеки встретила выходящего из нее Форстера. Мы обменялись дружеским рукопожатием; и вес же я всегда чувствую, что он как будто внутренне шарахается от меня, потому что я женщина, умная женщина, современная женщина. Вновь ощутив это, я велела ему прочитать Дефо, оставила его и по дороге домой купила в «Викерс» еще один том Дефо.

Четверг, 17 апреля

Как бы ни бранили Стрэчи, они всегда остаются для меня источником неисчерпаемой радости; такие они искрящиеся, ясные и находчивые. Надо ли говорить, что я запасаю качества, которые больше всего меня восхищают, для людей. Странами не являющихся? Мы с Литтоном* так давно не виделись, что основные впечатления о нем я беру из его работ, правда, статья о леди Эстер Стэнхоуп у него не из лучших. Я могла бы заполнить эту страницу сплетнями о статьях в «Атенеум»**, так как вчера пила чай с Кэтрин***, и с нами был молчаливый Марри**** с землистым лицом, оживлявшийся, только когда заговаривали о его делах. У него уже развилась отцовская ревность. Я попыталась быть честной, словно честность входит в мою жизненную философию, и сказата, как мне не понравились

* Эднрал Морган Форстер.

** «Атенеум» — английский литературный и художественно-критический журнал, издававшийся в Лондоне с 1801 по 1828 г. (Прим. переводчика).

*** Кэтрин Мэнсфильд.

**** Марри Д. Мидлтон.

певчие птицы Гранторти и Литтон, и прочие, и прочие. Мужская атмосфера приводит меня в замешательство. Они не доверяют мне? Презирают меня? Но если так, зачем тянут визит до последнего? По правде говоря, когда Марри произносит нечто сугубо мужское, например об Элиоте, мгновенно успокаивая мое любопытство по поводу того, что он говорит обо мне, я не уступаю ему; я думаю о том, что за неодолимая пропасть отделяет мужской ум и почему мужчины так гордятся собой, упрямо придерживаясь точки зрения, которую иначе как глупой не назовешь? Мне гораздо проще разговаривать с Кэтрин; она соглашается и сопротивляется точно так, как я ожидаю, и нам требуется куда меньше времени, чтобы охватить куда больше тем; но я с уважением отношусь к Марри. Мне хотелось бы заслужить его доброе мнение. Хейнеманн отверг рассказы К.М.; и она на удивление расстроена тем, что Роджер* не пригласил ее на свой вечер. Ее самоуверенность, в общем-то, внешняя.

Пасхальное воскресенье, 20 апреля

В бездельи, следующем за любой большой работой, а с «Дефо» у меня две статьи за один месяц, я достала дневник и перечитала его, как все перечитывают свое, виновато и внимательно. Должна признаться, что грубый и беспорядочный стиль, часто не признающий правил грамматики и вызывающий к замене некоторых слов, немного огорчил меня. Я хочу сказать той себе, которая будет читать это в будущем, что умею писать гораздо лучше, но у меня нет времени для переделок; и я запрещаю ей показывать дневник мужчине. А теперь можно добавить и маленький комплимент, ибо я нашла в своих записях стремительность, живость и неожиданные попадания в цель. Но гораздо важнее другое: привычка что-то постоянно записывать для себя — отличная практика. Свободнее делаются связи. Не обращаешь внимания на пропуски и запинки. Чтобы шагать с выбранной мной скоростью, я должна всегда попадать в яблочко, по пути подыскивая слова, отбирая их и стреляя ими, но задерживаясь не дольше, чем требуется времени для обмакивания пера в чернила. Мне кажется, за последний год я стаза свободнее в своих профессиональных сочинениях, что отношу на счет вы-

* Роджер Фрай.

падавшего время от времени получаса после чая. Более того, впереди неясно вырисовывается тень некоей формы, которую подсказывает мне дневник. Со временем, возможно, я пойму, что можно сделать из бессвязного жизненного материала; по здравом и честном размышлении отыщу ему другое применение в художественной литературе, нежели ему пока предназначено. Каким я хочу видеть свой дневник? Свободным, но не неряшливым, эластичным, чтобы он мог вместить все, и важное, и незначительное, и прекрасное, что приходит мне в голову. Мне хочется, чтоб он напоминал старую строгую конторку или вместительный портплед, в который складывается все что ни попадя. Мне хочется вернуться к нему через год-два и обнаружить, что собрание само собой рассортировалось, очистилось, превратилось, как это мистическим образом происходит с подобными залежами, в нечто достаточно прозрачное, чтобы отразить свет нашей жизни, но все же прочное, спокойное и с равнодушным отпечатком искусства. Самое главное, я полагаю, перечитывая старые тетради, не играть роль цензора, а писать о чем угодно, когда есть настроение; поскольку мне любопытно поглядеть, как я наброшусь на беспорядочные записи и найду ли смысл там, где в свое время и не помыслила бы его искать. Однако свобода легко переходит в небрежность. Немного требуется усилий, чтобы обратить внимание на тех или иных людей или события. Поэтому нельзя давать полную свободу перу; иначе станешь расхлябанной и неряшливой, как Вернон Ли. На мой вкус, она не слишком заботится о связности изложения.

Понедельник, 12 мая

Мы в разгаре издательского сезона; сегодня утром Марри, Элиот и я побывали в руках у публики. По этой причине, наверное, у меня небольшая, но очевидная подавленность. Прочитала переплетенный экземпляр «Королевского сада»* насквозь и оставила неприятное дело на потом, когда книга появится в окончательном виде. Результат неопределенный. Слишком легковесно и коротко; не понимаю, почему Леонарду так понравилось. Он считает, что это лучшая из написанных мной новелл; его суждение побудило меня перечитать «Отметину на сте-

* «Королевский сад» и «Отметана на стене» — рассказы В. Вулф.

не», в ней тоже много неправильного. Как однажды сказал Сидни Ватерлоу, ничего не может быть хуже в писательском деле, чем зависимость от похвалы. Я почти уверена, что за эту историю похвалы мне не получить; и меня это нервирует. Когда меня не хватает, мне трудно садиться утром за письменный стол; однако уныние длится лишь тридцать минут, и я мгновенно забываю о нем, едва берусь за перо. Необходимо всерьез добиваться равнодушия в отношении взлетов и падений, комплимента тут, замалчивания там; приказывали Марри и Элиот, я ни при чем; главное остается неизблемым, то есть радость творчества. А туманы в душе, полагаю, имеют другие причины; хотя они очень глубоко спрятаны. В жизни тоже существуют приливы и отливы, от которых она зависит; хотя мне не совсем ясно, чем эти приливы и отливы вызваны.

Вторник, 10 июня

Я должна воспользоваться оставшимися до обеда пятнадцатью минутами, чтобы продолжить дневник и заполнить долгий пробел. Мы только что вернулись из Клуба; заказали репринт «Отметины на стене» в «Пеликан-пресс»; пили чай с Джеймсом*. Он сообщил, что Мэйнард** в ярости от условий перемирия потребовал отставки, стряхнул с себя издательскую пыль — и теперь на академическом поприще в Кембридже. Однако мне необходимо пропеть хвалу себе, поскольку я остановилась на том моменте, когда мы вернулись из Ашема и нашли на столе в холле большую кучу заказов на «Королевский сад». Они засыпали весь диван, и мы вскакивали во время обеда, чтобы вскрыть очередное письмо, и ссорились, к сожалению, потому что оба были возбуждены; внутри нас происходили приливы возбуждения, которые разбивались на волны под критическим напором Чарльстона. Все заказы — примерно 150 — из магазинов и от отдельных людей переслало нам «Lit. Sup.»***, вероятно, после заметки Логана, в которой он расхвалил рассказ больше, чем я могла рассчитывать. А десять дней назад я была готова стоичес-

* Джеймс Стрэчи.

** Джон Мэйнард Кейнс.

*** Сокр. от «Times Literary Supplement» — «Таймс литерери саплмент» — литературный еженедельник, приложение к ежедневной газете «Таймс».

к и пережить полный провал! Удовольствие от успеха было довольно-таки подпорчено, во-первых, наши, «и ссорами и, во-вторых, необходимостью раздобыть девяносто экземпляров, нарезать бумагу, напечатать ярлыки, наклеить их и, наконец, разослать книги, что заняло все свободное время и часть несвободного вплоть до сегодняшнего утра. И во все эти дни успех не покидал меня! Неожиданно пришло письмо от «Макмиллана» из Нью-Йорка; гам под сильным впечатлением от «Путешествия» и хотят прочитать «Ночь и день». Кажется, нерв удовольствия быстро немеет. Мне нравится пить славу маленькими глотками, и стоит поразмышлять на досуге о ее психологическом аспекте. Думаю, на землю нас спускают друзья. В субботу к ланчу пришли Литтон и Уэббы, и когда я рассказывала о моих триумфах, мне как будто почудилась легкая тень на лице Литтона, которая исчезает не прежде, чем разговор перешел на другую тему. Что ж, к его триумфам я относилась примерно так же. Мне не доставляло удовольствия, когда он разглагольствовал об экземпляре «Знаменитых викторианцев»*, поставленном на полку и надписанном «М» или «Г» то ли мистером, то ли миссис Асквит. Мысль, очевидно, ему понравилась. Ланч был чудесный. Стол накрыли в саду, и Литтон очень мило шутил, вот только самоуверенности у него прибавилось. «Меня не интересует Ирландия...»

Суббота, 19 июля

Как мне кажется, надо написать о Дне заключения мира**, хотя не знаю, стоит ли брать для этого новое перо. Я сижу, высунившись из окна, и дождь, который без перерыва поливает деревья, почти обрушивается мне на голову. Минут через десять на Ричмонд начинается процессия. Боюсь, немногие поаплодируют городским советникам, одетым так, чтобы произвести солидное впечатление во время марша по улицам. У меня такое ощущение, будто на кресла надели чехлы и все, бросив меня одну, уехаги за город. Я покинута, разочарована, и мне скучно. Естественно, процессию мы не видели. Нам достались лишь мешки с мусором. Дождь прекратился полчаса назад. Зато у слуг бы-

* Книга Л.Стрэчи, изданная в 1918 г.

** Речь идет о Версальском мирном договоре, подписанном 28 июня 1919 г (Прим, переводчика).

ло триумфальное утро. Они стояли на мосту Воксхолл и ничего не пропустили. Генералы, солдаты, танки, сестры милосердия, оркестры шли часа два. Судя по их словам, это было прекраснейшее зрелище, какое им только приходилось видеть. Так же, как налет «цепелинов», оно сыграет важную роль в истории семьи Боксоллов. Не знаю — но мне все это кажется праздником слуг, призванным умиротворить и успокоить «народ», — а дождь все испортил; вероятно, для народа придумают еще какое-нибудь развлечение. Думаю, в этом причина моего разочарования. Есть что-то просчитанное, политическое и неискреннее в таких праздниках. Более того, в них совсем нет красоты и почти нет стихийного порыва. Еще и флаги; мы получили то, что слуги, как я полагаю, купили из снобизма, желая удивить нас. Вчера в Лондоне — обычные молчаливые, скучные скопления сонных и вялых, как вымокшие пчелы, людей ползали по Трафальгарской площади и соседним улицам. Единственное симпатичное зрелище, которое я видела, скорее было сотворено ветром, чем искусством декораторов; вымпелы в виде длинных языков на самом верху колонны Нельсона лизали воздух, сворачивались и вновь разворачивались, как гигантские языки драконов, с неторопливым и коварным изяществом. Театры же и мюзик-холлы убраны в толстые стеклянные подушки для булавок, которые, несколько преждевременно, освещены изнутри, — свет можно было бы использовать куда как с большей пользой. Тем не менее, ночь становилась все более волнующей и прекрасной, и мы, уже улегшись в кровать, еще какое-то время не спали из-за взрывов ракет, ненадолго, но ярко освещавших комнату. (Вот и теперь, когда небо серо-коричневое и льет дождь, звонят колокола на Ричмонд — однако церковные колокола напоминают лишь о свадебных и христианских службах.) Не могу отрицать, что чувствую себя немного неловко, описывая происходящее в мрачном свете, поскольку нам, по-видимому, следует верить в то, что мы счастливы и всем довольны. Так бывает в день рождения, когда праздник по какой-то причине разлаживается, а в детской считается делом чести притворяться, будто все прекрасно. И только через много лет кто-нибудь признается, какой ужас тогда творился; если через много лет эти послушные толпы заявят, что все понимали и не очень радовались, будет ли мне, скажем, веселее? Кажется, обед в Клубе 1917 и речь миссис Бе-

сайт окончательно стерли остатки позолоты, если еще оставалась позолота, с имбирного пряника. Гобсон был злобно-насмешлив. Она — тучная и угрюмая старуха с большой головой в густых белых кудряшках — начала с того, что сравнила иллюминированный и праздничный Лондон с Лахором*. Потом набросилась на нас из-за нашего дурного обращения с Индией, очевидно, воображая себя «ими», а не «нами». Не думаю, что она очень преуспела, хотя внешне все было как полагается, и Клуб 1917 ей хлопал и с ней соглашался. Я всегда слушаю речи, словно читаю по написанному, поэтому цветы, которыми она время от времени размахивала, выглядели чересчур неестественно. Мне все яснее и яснее, что честные люди — это художники, а социальные реформаторы и филантропы быстро отбиваются от рук и, притворяясь человеколюбцами, лелеют такое множество позорных желаний, что в конце концов у них можно найти куда больше недостатков, чем у нас. А если бы я была одной из них?

Воскресенье, 20 июля

Наверное, надо довести до конца описание празднеств в честь окончания войны. Все-таки мы не более чем стадо животных! — даже самые разочарованные из них. Как бы там ни было, высидев неподвижно всю демонстрацию и мирный колокольный звон, после обеда я задумалась о том, что если еще что-то должно произойти, то, наверное, надо это видеть. Я накрутила бедняжку Л. и отложила в сторону Уолпола. Когда зажглась первая гирлянда из электрических лампочек и мы увидели, что дождь прекратился, то вышли из дома; это было до чая. Некоторое время взрывы пугали нас пожарами. Двери пивной на углу были открыты, и внутри оказалось полно народа; посетители вальсировали; все раскачивались, словно пьяные, и орали песни. Мальчишки с фонариками маршировали по газонам, празднуя победу. Немногие магазины смогли позволить себе электрический свет. Совершенно пьяную женщину из высшего класса вели, поддерживая с двух сторон, полупьяные мужчины. Иллюминацию выключили уже примерно на пол пути, однако мы шли и шли, пока не поднялись

* В государстве моголов Лахор был одним из самых богатых городов и позднее символом богатства для европейцев. Город в Пакистане с 1947 г. (Прим, переводчика).

на гору. И тогда нам удалось кое-что разглядеть — немного, правда, потому что сырость убивала краски. Красные, зеленые, желтые, синие шары медленно поднимались в воздух, взрывались и расцветали светлыми кругами, которые вскоре распадались на множество искр и исчезали. Вес небо было в ярких огнях. Поднимаясь над Темзой, среди деревьев, эти ракеты были прекрасны; странным был их отблеск на лицах людей; и все же, конечно, серый туман смазывал картину, которая иначе была бы намного ярче. Грустно было смотреть належавших к нам спиной в «Стар энд Гартер»* неизлечимых солдат, они курили сигареты и ждали, когда закончится шумиха. Мы были как дети, которых надо развлекать. В одиннадцать часов мы вернулись домой и увидели из окна моего кабинета веселящийся от души Илинг; один огненный баллон поднялся так высоко, что Л. поверил, будто это звезда, но она разлетелась на девять звезд. Сегодня дождь переспал лить, видимо, в уверенности, что праздники окончательно испорчены.

Вторник, 21 октября

Сегодня день Трафальгарского сражения**, а вчерашний день останется в памяти благодаря выходу из печати «Ночи и дня». Утром я получила свои шесть экземпляров, пять из которых были тотчас разосланы, так что, думаю, они уже в клювах моих друзей. Неужели я нервничаю? Совсем немного; скорее волнуясь и радуюсь, нежели нервничаю. Во-первых, книга есть, она вышла в свет и с ней покончено; во-вторых, я немного ее почитала и мне понравилось; в-третьих, у меня сохраняется уверенность, что людям, чье мнение я ценю, она тоже понравится, и эту уверенность я укрепляю мыслью, что, даже если им не понравится, я приду в себя и начну что-нибудь другое. Конечно, если меня поддержат Морган, Литтон и остальные, я буду думать о себе лучше. Скучно встречаться с людьми, которые говорят банальности. Но в целом я понимаю, чего добиваюсь, и чувствую, что на сей раз использовала свой шанс как нельзя лучше; так что имею право сохранять философское спокойствие, а вину за неудачу свалить на Бога.

* Имеется в виду театр водевиля. (Прим, переводчика).

** Имеется в виду Трафальгарское сражение 1805 г., в котором погиб адмирал Г.Нельсон (Прим, переводчика).

Четверг, 23 октября

Я должна записать первые плоды «Ночи и дня». «Несомненно, работа большого таланта» — Клайв Белл. Что ж, ему могло и не понравиться: критиковал же он «Путешествие». Признаюсь, я довольна, но не убеждена, будто все так, как он пишет. Однако мне дан знак, что я права, ничего не боясь. Те люди, чьим мнением я дорожу, не будут столь восторженны, но наверняка станут по эту сторону, как мне кажется.

Четверг, 30 октября

Из-за приступа ревматизма могу позволить себе больше не писать; да и, помимо ревматизма, от работы у меня устала рука. Все же, если бы я могла отнестись к себе профессионально как к объекту анализа, то могла бы сочинить интересный рассказ о последних нескольких днях, о переменах в моем настроении из-за «Н.и д.»*. Следом за письмом Клайва получила письмо от Нессы — сплошные похвалы; вершина — письмо Литтона: восторженные похвалы; великий триумф; классика; и так далее; потом панегирик от Вайолет; потом, вчера утром, вот эта фраза Моргана: «“Путешествие” мне понравилось больше». Правда, он также написал о своем великом восхищении, но сообщил, что читал роман в спешке и собирается его перечитать, отчего удовольствие, доставленное мне другими, сильно потускнело. Да, так оно и было, но продолжим. Около трех часов дня от его порицания мне стало легче и приятнее, чем от похват остальных, — словно я вернулась на землю после блаженного парения среди мягких облаков и упругих холмов. Все же я ценю мнение Моргана наравне с другими. Сегодня утром заметка в «Таймс»; очень хвалебная; и умная тоже; среди прочего в ней сказано, что, хотя в романе «Ночь и день» меньше внешнего блеска, он глубже «Путешествия»; с этим я согласна. Надеюсь, на этой неделе будут еще отзывы; хорошо бы получить умные письма; но я хочу писать рассказы; все равно с плеч словно свалилась тяжелая ноша.

Четверг, 6 ноября

Вчера вечером у нас обедали Сидней** и Морган. В общем-то, я рада, что пожертвовала концертом. Сомнений насчет от-

* «Ночь и день».

ношения Моргана к «Н. и д.» не осталось; теперь я знаю, почему этот роман понравился ему меньше «П.», и понимаю, что его критика не должна меня обескураживать. Наверное, умная критика никогда не обескураживает. Так или иначе, я должна кое-что записать, потому что сама пишу много критики. То, что он думает, сводится к следующему: «Ночь и день» — строгий с точки зрения формы классический роман; и как от такого от него требуется или он требует от его персонажей гораздо более высокой степени привлекательности, чем в книге, подобной «П.», которая неопределенна и универсальна. А в «Н. и д.» нет привлекательных персонажей. Ему все равно, как их классифицировать. Ему безразличны и персонажи в «П.», но там он и не ощущал потребности в любви. Все остальное ему нравится; смысл его критических замечаний не в том, что «Н. и д.» хуже «П.». Ахов и красот здесь тоже много — в самом деле, я не вижу причин огорчаться из-за Моргана. Сидней сказал, будто совершенно расстроен романом и у него сложилось мнение, что я «спасла» его удачной концовкой. Я становлюсь занудой! Даже старая Вирджиния не будет такое читать; но сейчас это кажется мне важным. «Кембридж мэгзин» повторяет то, что Морган сказал о своем неприятии персонажей; и все же мое место на передовой линии современной литературы. У меня циничное отношение к персонажам, говорят они и оперируют частностями, отчего Морган, который сидел у газового камина и читал рецензию, немедленно начал выражать несогласие. Итак, критики расходятся во мнениях, а несчастный автор, который хочет быть в курсе, разрывается на части. В первый раз за много лет гуляла на речном берегу между десятью и одиннадцатью часами. Он похож на запертый дом, с которым я один раз сравнила его; на комнату с пыльными чехлами на креслах. Рыбаки не выходят так рано; тропинка безлюдна; лишь большой аэроплан летит куда-то. Мы почти не разговаривали, и это доказывает, что нам (по крайней мере мне) нравится молчать. У Моргана ум художника; он говорит о простых вещах, о которых умные люди не говорят; и по этой причине я считаю его самым лучшим критиком. Неожиданно мне в голову приходит то очевидное, *

* Сидней Уотерлоу.

о чем никто не подумал. У него не получается новый роман, он подыскивает к нему ключи, но пока безуспешно.

Пятница, 5 декабря

Еще один пропуск, однако, кажется, дневник со временем обретает дыхание, правда, медленно. Отмечаю, что после возвращения ни разу не брала в руки греческую книгу; вообще почти ничего не читала, кроме книг, на которые надо было писать рецензии, и это доказывает, что мое рабочее время мне не принадлежит. Я почти испугалась, когда обнаружила, как меня затянуло в критику. Мой мозг, из-за перевозбуждения или другой причине отвергающий чистые листы бумаги, стал похож на заблудившегося ребенка — я брожу по дому или присаживаюсь на верхнюю ступеньку, чтобы поплакать. «Ночь и день» все еще держит меня, отчего я теряю массу времени. Джордж Элиот никогда не читала рецензий, поскольку пересуды о ее книгах мешали ей работать. Я начинаю ее понимать. Не то чтобы я принимала близко к сердцу хвалу и хулу, но они отрывают меня от сегодняшнего дня, заставляют оглядываться назад в попытке что-то объяснить или, наоборот, понять. На прошлой неделе я нашла язвительный параграф о себе в «Вэйфэрер»; на этой неделе Олайв Хезелтайн пролил на мою душу бальзам. Но я скорее по-своему написала бы о «четырёх страстных улитках», нежели, как утверждает К. М.*, стала второй Джейн Остин.

* Кэтрин Мэнсфильд.

Понедельник, 26 января

Вчера был мой день рождения; мне исполнилось тридцать восемь лет; что ж, вне всяких сомнений, я гораздо счастливее, чем была в двадцать восемь лет; и сегодня я счастливее, чем была вчера, так как сегодня мне пришла в голову идея новой формы для нового романа. Представляю, одно раскрывается через другое — как в ненаписанном романе, — но не на десяти страницах, а на двухстах или около того — разве не получится свободно и легко, чего я как раз добиваюсь; разве не получится точнее при сохранении формы и темпа и вмещении всего-всего? Сомневаюсь лишь, удастся ли мне не потерять человеческое сердце, — достаточно ли я владею диалогом, чтобы не выпустить его из сети? Понимаю, что на сей раз все будет совсем по-другому; никаких строительных лесов; ни одного кирпичика; сплошные сумерки, зато сердце, страсть, ум сверкают ярко, как огонь в тумане. Только так мне удастся отыскать место для всего: для радости, непосредственности, легкомысленных переходов по моей доброй юле. Достаточно ли я владею образами — вот в чем я сомневаюсь; но представляю (?), как «Отметина на стене», «К. с.»*, «Ненаписанный роман» берутся за руки и пляшут вместе. Что такое это «вместе», пока не знаю; пока у меня нет темы; но я вижу огромные возможности формы, которую более или менее случайно открыла две недели назад. Думаю, опасность таится в проклятом эгонистическом «я»; губящем, насколько я понимаю, Джойса и Ричардсон: автор должен быть достаточно гибким и разносторонним, чтобы из своего «я» построить стену для книги, но не стать этой стеной, иначе она, как у Джойса и Ричардсон, будет мешать ему и ограничивать его. Надеюсь, я довольно знаю свое дело, чтобы не забыть ни об одной из возможных уловок. Как бы

* «Королевский сад».

то ни было, мне придется идти наощупь, экспериментировать, но сегодня меня озарило. В самом деле, легкость, с какой я развиваю ненаписанный роман, доказывает, что это и есть моя дорога.

Среда, 4 февраля

Каждое утро с двенадцати до часу читаю «Путешествие*». Не заглядывала в него с июля 1913 года. Если бы меня спросили, что я теперь о нем думаю, то ответила бы, не знаю — такая в нем арлекиада — такой ассортимент заплат — тут просто и сурово — там игриво и поверхностно — тут как общеизвестная банальность — там сильно и свободно, насколько можно желать. Что с этим делать, один Бог знает. Провалы такие ужасные, что у меня щеки горят от стыда, — а потом поворот во фразе, прямой взгляд, и щеки у меня горят уже совсем подругой причине. В целом мне нравится ум молодой женщины. Она храбро берет препятствия — честное слово, у нее писательский талант! Поправить я ничего не могу и явлюсь к потомкам автором дешевых остроумных сатир и даже, как я обнаружила, вульгаризмов — довольно грубых, — которые не перестанут мучить меня и в могиле. Все же я знаю, что «Путешествие» для многих предпочтительнее «Ночи и дня». Я не говорю — любите эту книгу сильнее, но постарайтесь увидеть в ней более яркое и вдохновенное зрелище.

Вторник, 9 марта

Несмотря на дрожь, думаю, пока могу продолжать свои записи. Иногда мне кажется, что я выработала тот стиль, который мне подходит — подходит приятному светлому часу после чая; то, чем я занимаюсь сейчас, не так податливо. Ничего. Представляю, как старушка Вирджиния, надевая очки и берясь за мартовские записи 1920 года, уж точно будет хотеть, чтобы я продолжала. Поздравляю, мой милый призрак; и обрати внимание, я не считаю пятьдесят такой уж древностью. Еще можно написать несколько хороших книг; и у меня есть кирпичики для одной замечательной книги. Вернемся к сегодняшней носительнице имени. В воскресенье я отправилась на Кэмпден-хилл послушать шубертовский квинтет — посмотреть на дом Джорджа Бута — сделать заметки для книги — поднабраться светскости — эти желания привели меня туда и были задешево (7/6)* удовлетворены.

Сомневаюсь, чтобы обитатели дома видели его с той же разрушительной ясностью, с какой видела его я, допущенная внутрь всего на один час. Холодное поверхностное приличие; тонкое, как мартовский ледок на луже. Что-то вроде купеческой чопорности. Конский волос и красное дерево — основа и правда; белые панели, репродукции Вермеера, стол в форме Омеги и пестрые занавески, довольно снобистская маскировка. Самое неинтересное в комнатах; компромисс; хотя, конечно, это тоже интересно. Я против семейной традиции. Старая миссис Буг во вдовьем платье восседала на подобии комода; по бокам — преданные дочери; внуки — вроде херувимов. Аккуратненькие скучные мальчики и девочки. Мы все были в мехах и белых перчатках.

Суббота, 10 апреля

Наследующей неделе планирую, если повезет, начать «Комнату Джейкоба». (В первый раз упоминаю об этом.) Хочу описать весну; обратить внимание — в этом году никто не замечает листья на деревьях, а ведь они не все облетели — никогда не было такой железной черноты на стволах каштанов — всегда они нежные и светлые; таких я не могу припомнить за всю мою жизнь. На самом деле, мы пропустили зиму; как будто был ночной сезон; а теперь возвращение солнечного дня. Вот и я едва не пропустила, как на каштане возле окна появились крошечные зонтики; на кладбище трава бежит по старым плитам, словно зеленая вода.

Четверг, 15 апреля

Мой почерк, кажется, погиб ко всем чертям. Наверное, я порчу его постоянным писанием. Я говорила, что Ричмонд* ** в восторге от моей статьи о Джеймсе?*** Ну вот, а два дня назад престарелый коротышка Уолкли напал на нее в «Таймс» и заявил, что я впадаю в худший маньеризм Генри Джеймса — стойкие «фигуры», — и еще намекнул, будто я была его сердечной подругой. О Перси Лаббоке тоже не забыли; но, правильно или нет, я, краснея, выкидываю эту статью из головы и понимаю, что стала писать, по крайней мере, рыхло. Думаю, дело опять в «витиеватом потоке» — несомненно, критика правильная, хотя болезнь

* Вероятно, 7 шиллингов 6 пенсов.

** Брюс Ричмонд, редактор «Таймс литерери сапплмент».

*** Генри Джеймс.

моя собственная, а не подхваченная у Г. Д.; утешение небольшое. Тем не менее, надо быть осторожнее. В «Таймс» так нельзя, я должна быть там чопорнее, особенно в отношении Г. Д.; статьи надо тщательно продумывать с точки зрения композиции, не исключаящей узору. Десмонд*, тем не менее, выразил восхищение. Жаль, не выработаны правила насчет ругани и похвал. Боюсь, моя судьба — неограниченная ругань. Я лезу в глаза; и пожилые господа особенно недовольны этим. «Ненаписанный роман», несомненно, раскритикуют: не могу предсказать, какую линию они займут на этот раз. Огчасти людей отвращает «хорошее письмо» — как, полагаю, отвращаю всегда; «Претенциозно», — говорят они; к тому же я — женщина, которая хорошо пишет и пишет для «Таймс», — вот их линия. В этом одна из причин, удерживающая меня от «Комнаты Джейкоба». Однако я ценю критику. Она подстегивает меня, даже если это Уолкли, которому (я выяснила) шестьдесят пять лет и который считается дешевым маленьким сплетником, так мне нравится думать, вызывающим всеобщий смех, даже у Десмонда. Однако не стоит забывать, что в его словах есть правда; больше, чем крупица правды, о статье в «Таймс», которую я чертовски приукрасила; приукрасила и смягчила; не думаю, что это легко исправить; поскольку перед тем, как приняться за статью о Г. Д., я дала себе клятву говорить, что думаю, и говорить по-своему. Ладно, я исписала всю страницу, но не знаю, как заpastись спокойствием на тот момент, когда выйдет из печати «Ненаписанный роман».

Вторник, 1 мая

Стоит заметить, для будущих ссылок, что творческая энергия, которая, когда задумываешь новую книгу, приятно бьет ключом, через некоторое время стихает, и начинается будничная работа. Появляются сомнения. Потом смирение. Решение не сдаваться и предчувствие новой формы держат крепче, чем что бы то ни было. Я немного тревожусь. Удастся ли мне справиться с теорией? Когда принимаешься за работу, напоминаешь себе путешественника, который уже бывал в простертой перед ним стране. Не хочу писать в этом дневнике ничего такого, что не доставляет мне удовольствия. Но писать всегда трудно.

* Десмонд Маккарти.

Среда, 23 июня

На сей раз мне пришлось побороться с собой, чтобы честно сказать: последняя книга Конрада не кажется мне хорошей книгой. И я это сказала. Мучительно (немного) искать ошибку у того, к кому относишься с почти бесконечным почтением. Не могу не думать, что ему просто не попадается никто, умеющий отличать хорошую прозу от плохой, к тому же он иностранен с плохим знанием английского языка, который взял в жены дуру; он все больше и больше цепляется за то, что когда-то сделал хорошо, и теперь громоздит один пласт на другой, пока не получается, скажем так, неуклюжая мелодрама. Мне не хотелось бы увидеть свое имя под «Спасением»*. Но согласится ли кто-нибудь со мной? И все же мое мнение о книге неколебимо. Ничто — ничто. Вот если бы это была книга молодого автора — или друга, — нет, даже в этом случае я бы не поддалась. Разве не я совсем недавно отвергла пьесу Марри, похвалила прозу К. и написала итоговую статью об Олдосе Хаксли; и разве Роджер не ранил мое профессиональное «я», когда стал вслух чернить незыблемые ценности?

Четверг, 5 августа

Попробую рассказать, о чем я думала, читая после обеда «Дон Кихота», — главным образом о том, что в те времена сочинение прозы представляло собой сочинение историй для развлечения публики, собиравшейся вокруг очага и не имевшей других развлечений. Вот они сидят, женщины прядут, мужчины думают, и в это время им, как взрослым детям, рассказывают веселую, прихотливую, приятную сказку. На меня это произвело впечатление в качестве повода для «Дон Кихота»: забавлять любой ценой. Насколько я могу судить, красота и мысль заставляют нас врасплох. Слугам вряд ли доступно серьезное значение книги, и они вряд ли видят в Дон Кихоте то же, что видим мы. В самом деле, это мои трудности — печешь, сатира — насколько они наши, а не предложены нам, — или они уже заложены в великих образах и меняются в зависимости оттого, какое поколение взирает на них? Признаю, большая часть повествования скучна — меньшая часть, совсем немного в конце первого тома, написана, чтобы доставить нам удовольствие. Так мало сказано, так много скры-

* Роман Джозефа Конрада.

то, словно ему не хотелось развивать эту тему — я имею в виду ту сцену, где идут галерные рабы. Знал ли С.* красоту и печаль, которые теперь знаю я? Дважды я сказала о «печали».

Неужели это главное для нашего времени? И все же прекрасно мчаться вперед под парусами, которые надувает ветер великой прозы, как это происходит в первой части. Подозреваю, что сюжет Фернандо—Кардино—Люсинда** — на самом деле дворцовый эпизод по моде тех дней, но на меня он нагоняет скуку. Еще я читаю «Ghoda le Simple» («Года Простодушный») — ярко, сильно, интересно и все же безупречно, чисто и скучно. У Сервантеса есть всё; если хотите, в растворенном виде; но самое сильное — живые люди, отбрасывающие черные или серые тени, как в жизни. Египтяне же, подобно многим французским писателям, дают вместо этого шепотку пыльного экстракта, куда более чистого и насыщенного, но лишенного воздуха и пространства. Боже мой! Что я пишу! Вечно эти образы. Каждое утро я работаю над «Джейкобом» и каждое утро чувствую, что должна одолеть очередное препятствие, у меня душа в пятках, пока оно не останется позади, пока я не расчищаю дорогу и не выкидываю его прочь. (Еще один недодуманный образ. Надо как-нибудь достать «Эссе» Хьюма и почистить себя.)

Воскресенье, 26 сентября

Мне кажется, я больше запрещаю себе, чем разрешаю; вот и «Джейкоб» остановился, да еще посреди вечеринки, которая мне так нравилась. Элиот, пришедший сразу после долгого творческого писания (два месяца без перерыва), нагнал на меня тоску; на меня легла его тень; а ведь мозг, творящий литературу, нуждается в максимальной храбрости и уверенности в себе. Он ничего не сказал — но я словно услышала, насколько лучше мистер Джойс сделал бы то, что делаю я. Потом я стала размышлять, а что же я, в сущности, делаю; решила, как всегда бывает в таких случаях, что недостаточно продуман план, — итак, сокращаю, вырезаю, сомневаюсь — значит, заблудилась. Однако, полагаю, виной тому два месяца работы; поворачиваю теперь к Эвелину и придумываю сочинение о Женщинах, собираясь нанести контрудар мистеру Беннетту с его враждебными идеями,

* Сервантес.

** Персонажи романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

о которых писали в газетах. Две недели назад во время прогулок непрерывно сочиняла «Джейкоба». Странная штука человеческий мозг! Капризный, неверный, постоянно пугающийся теней. Возможно, в глубине души я чувствую, что Л. буквально во всем соблюдает листанию.

Понедельник, 25 октября (первый день зимы)

Почему жизнь так трагична; всего лишь полоска тротуара над пропастью? Я заглянула вниз; у меня закружилась голова; не знаю, как сумею дойти до конца. Но откуда вдруг такие мысли; к тому же, когда я это произнесла, то больше ничего не чувствую. Горит камин; мы собираемся слушать «Оперу нищих». Это всюду; не могу закрыть глаза. Ощущение пустоты; лед не растопить. Вот я сижу в Ричмонде, и, словно фонарь, поставленный посреди поля, мой свет рассекает тьму. Печаль сходит на нет, когда я пишу. Почему же я не пишу чаще? Ну, гордыня мешает. Мне хочется быть благополучной даже в собственных глазах. А у меня ничего не получается. Детей нет, живу вдалеке от друзей, не могу хорошо писать, слишком много денег трачу на еду, старею. Слишком много думаю обо всяких почему и зачем; слишком много думаю о себе. Мне не нравится, что время проносится мимо. Что ж, тогда надо работать. Правильно. Но я так быстро устаю от работы — читаю совсем немного, да и пишу не больше часа. Сюда никто не приезжает приятно провести время; если же кто-то приезжает, я злюсь. Мне стало трудно выбираться в Лондон. У Нессы растут дети, а я не могу пригласить их на чай или погулять в зоопарке. На мои карманные деньги не походишь. Все же я убеждена, что это неважно; сама жизнь, думается мне иногда, трагична для нашего поколения — ни одна газета не выходит без чьего-нибудь предсмертного вопля. Сегодня Максунни и насилие в Ирландии; в следующий раз забастовка. Везде несчастья; они начинаются сразу за дверью; или глупость, что еще хуже. Никак не могу прийти в себя. Вот начну опять писать «Джейкоба» и оживу, как мне кажется. Надо закончить с Эвелином; но мне не нравится то, что я пишу. Все же я счастливая — это как полоска тротуара над бездной.

Вторник, 1 марта

Я недовольна тем, что книга получается слишком разумной. А если хоть одно из моих бесчисленных изменений стиля не совместимо с материалом? Или у меня единый стиль? На мой взгляд, он постоянно меняется. Но этого никто не замечает. Пока даже я сама не могу ничего сказать наверняка. В общем-то, у меня есть внутренняя, автоматическая шкала ценностей, и она решает, как мне лучше распорядиться моим временем. Она диктует: «Эти полчаса надо посвятить русскому языку». «Это время отдать Вордсворту». Или: «Пора заштопать коричневые чулки». Как у меня выработался этот ценностный код, я понятия не имею. Возможно, он — наследие моих пуританских предков. Об удовольствии речи нет. Бог знает почему. Да и писание, даже в дневнике, требует напряжения мозгов — правда, не такого серьезного, как русский язык, но половину времени, что идет на русский, я смотрю в огонь и думаю, о чем буду писать завтра. Миссис Флендерс* в саду. Будь я в Родмелле, я бы все обдумала, гуляя по берегу. И была бы в отличной писательской форме. Как бы то ни было, только что ушли Ральф**, Каррингтон*** и Бретт**** *****; я немного рассеялась; мы обедаем и идем к ратуше. Мне не надо думать о миссис Флендерс в саду.

Воскресенье, 6 марта

Нессе нравится «Понедельник ли, вторник***** — слава Богу; это поднимает рассказ в моих глазах. Теперь мне интерес-

* Персонаж романа «Радости и горести знаменитой Молль Флендерс» (1722) Д.Дефо.

** Ральф Партридж.

*** Миссис Партридж.

**** Дороги Бретт.

***** Рассказ В.Вулф.

но, что о нем напишут в газетах в следующем месяце. Попробуем попорочествовать. Итак, «Таймс» будут добрыми, но осторожными. Миссис Вулф, напишут они, должна остерегаться искусственности. Она должна остерегаться неясности. Ее большие природные способности, и так далее... Лучше всего ей удастся незамысловатая лиричность, как в «Королевском саду». «Ненаписанный роман» вряд ли назовешь успехом. «Общество» же, хоть и одухотворенное, все же слишком одностороннее. Тем не менее, проза миссис Вулф всегда читается с удовольствием. Что же до «Вестминстер», «Пэлл Мэлл» и других серьезных вечерних газет, то они будут немногословны и саркастичны. Общая линия — я слишком люблю звук собственного голоса и не очень люблю то, о чем пишу; неприлично жеманна; неприятная женщина. На самом деле, как я думаю, никто не уделит мне особого внимания. Все же я становлюсь относительно известной.

Пятница, 8 апреля, без десяти одиннадцать

Надо писать «Комнату Джейкоба»; а я не могу и вместо этого пишу, почему не могу, — мой дневник похож на давнюю невозмутимую подругу. Ну, понимаешь, у меня не получается быть писательницей. Вышла из моды; стала старой; лучше не сумею; на ум подкачала; всюду весна; моя книга вышла (раньше срока) и открыта для придирок, как отсыревшее полено в камине. Главное то, что Ральф отослал книгу в «Таймс» без даты публикации. Таким образом, заметка появится «самое позднее в понедельник» в каком-нибудь незаметном углу, бессвязная, вполне комплиментарная и совершенно не умная. Этим я хочу сказать, что никто не нашел ничего интересного в моих поисках. Поэтому, полагаю, мои поиски никуда не привели. И поэтому не могу продолжать «Джейкоба». Кстати, у Диттона тоже вышла книга, и ей посвятили три колонки — похвал, полагаю, Я даже не пытаюсь писать упорядоченно; или писать о том, как у меня ухудшалось и ухудшалось настроение, пока полчаса назад я не впала в ужасное уныние. Короче говоря, я решила больше никогда ничего не писать — кроме заметок о книгах. Чтобы еще больше растравить себя, мы устроили праздник в доме 41: поздравили Литтона; все было, как должно быть, однако он ни словом не упомянул мою книгу, которую наверняка прочитал; в первый раз не могу положиться на его похвалу. Теперь, если бы «Lit. Sur.» похвалило меня, назвав тайной загадкой, — я бы не возра-

жала; ибо Литтону это не понравилось бы, а будья, как день, ясной и незначительной?

Что ж, надо смело смотреть в лицо похвале и славе. (Забыла сказать, что Доран отказался от издания книги в Америке.) Какие перемены сулит популярность? (Я хорошо представляю — пишу это после паузы, во время которой Лотти принесла молоко и солнце перестало меркнуть, — что у меня довольно много чепухи.) Вес хотят, как справедливо заметил вчера Роджер, быть на высоте; чтобы люди интересовались их работой и следили за ней. Больше всего меня приводит в уныние мысль о том, что я потеряла интерес читателя — в то самое время, когда с помощью прессы начала думать, будто становлюсь сама собой. Зачем нужна прочная репутация, какая у меня, вроде, появилась, одной из ведущих дам-писательниц? Конечно, я буду и дальше собирать критические замечания друзей, то есть правдивую оценку моей работы. Потом, взвесив их все, наверное, смогу сказать, «интересна» я или устарела. Что ж, если устарела, писать не буду. Машиной я не стану, разве лишь машиной, вырабатывающей статьи. Когда я пишу, в мозгу у меня появляется удивительно приятное предощущение того, что мне хочется написать; мое видение. Интересно, однако, какое влияние оказывает на меня то, что я пишу для полудюжины людей, а не для полутора тысяч? — придает эксцентричность? — нет, не думаю. Тем не менее, как **Я** уже говорила, очевидно, что в основе всей этой чепухи и придилок презренная гордыня. Полагаю, для меня единственный рецепт — иметь тысячу интересов; если опозорюсь, направлю свою энергию на русский язык, на греческий, на прессу, на сад, на людей, на любую деятельность, кроме прозы.

Воскресенье, 9 апреля

Надо отметить симптомы болезни, чтобы не совершить ошибку в следующий раз. В первый день чувствуешь себя несчастливой, во второй — счастливой. В «Нью стейтсмен» на меня налетел Любезный Ястреб*, который по крайней мере внушил мне ощущение собственной значительности (как раз то, что нужно), и «Симпкин-Маршалл»** позвонил, чтобы заказатьеше пятыеде-

* Псевдоним Десмонда Маккарти.

** «Симпкин, Маршалл и компания» — издательство и магазин.

сят экземпляров. Значит, книга расходуется. Теперь мне предстоит пережить критику и придирки друзей, которые придется мне не по вкусу. Завтра у нас Роджер. Как же все это скучно! — к тому же я жалею, что не напечатаны другие рассказы и напечатан «Дом с привидениями», получившийся сентиментальным.

Вторник, 12 апреля

Надо поскорее записать другие симптомы болезни, чтобы, заглянув сюда в следующий раз, я могла найти от нее лекарство. Итак: я прошла острую стадию, и у меня установилось философское полудепрессивное состояние; в полном безразличии весь день развозила связки книг по магазинам, ездила в Скотленд-Ярд за своей сумочкой, когда Л. перехватил меня за чаем и прошептал на ухо потрясающую новость, будто Литтон считает «великолепным» «Струнный квартет». Об этом рассказал Ральф, который никогда не преувеличивает, да и Литтону нет нужды ему врать; мгновенно все мои нервные клетки были словно омыты блаженством, так что я даже забыла купить себе кофе и вышла на мост Хангерфорд, ошущая напряжение и вибрацию во всем теле. К тому же стоял прелестный синий вечер, цвета реки и неба. Рядом был Роджер, который думает, что я на пути настоящих открытий и, уж конечно, не-мошенничаю. Мы побили рекорд продаж. Но сегодняшняя радость не сравнится с прежней опустошенностью; все же появилось ощущение защищенности; рок меня не тронет; критики пусть кусаются; и продажи пусть уменьшаются. Больше всего я боялась, что меня отвергнут как не стоящую внимания.

Пятница, 29 апреля

Надо рассказать о Литтоне. В последние дни мы виделись с ним чаще, чем за весь последний год. Мы разговаривали о его книге и о моей книге. И именно такой разговор состоялся в «Верриз»*: позолоченные перья, зеркала, голубые стены, и в углу мы с Литтоном пьем чай и едим бриоши. Кажется, просидели так больше часа.

— Ночью я проснулась и подумала, куда вас поместить, — сказано я. — Рядом с Сен-Симоном и Лабрюйером.

* Ресторан на Ричмонд-стрит в Лондоне.

— О Боже, — простонал он.

— Есть еще Маколей, — прибавила я.

— Ага, Маколей. Все же я получше Маколея.

Я настаивала на том, что он другой.

— Конечно же, более цивилизованный, — говорила я. — Но ведь вы пишете только короткие книги.

— Следующая будет о Георге IV.

— Нет, все же это ваше место.

— А ваше?

— Я — «самая талантливая из ныне живущих писательниц». Так говорит «Бритиш уикли».

— Вы давите на меня.

Еще он сказал, что всегда может узнать мою руку, как бы я ни меняла стиль.

— Это результат тяжелой работы, — заявила я.

Потом мы обсуждали разные исторические моменты: Гиббона; я сказала, что он похож на Генри Джеймса.

— О Боже, нет — ни в матейшей степени, — возразил он.

— У него есть точка зрения, и он не отходит от нее, — сказала я. — И у вас то же самое. А я колеблюсь.

А что Гиббон?

— О, с ним все в порядке, — сказал Литтон. — Форстер говорит, что он Весельчак. Но у него совсем немного мыслей. Наверное, он верил в «добродетель».

— Прелестное слово, — откликнулась я.

— Почитайте, как орды варваров громили Город. Это великолепно. Правда, у него странное отношение к ранним христианам — он совсем ничего в них не понимает. И все же почитайте его. Я тоже собираюсь в октябре его перечитать. А еще я собираюсь во Флоренцию и буду очень одинок вечерами.

— Полагаю, французы повлияли на вас сильнее, чем англичане, — заметила я.

— Да. У меня есть их определенность. Есть форма.

— На днях я сравнивала вас с Карлейлем. Прочитала «Воспоминания». Болтовня старого беззубого могильщика по сравнению с вами; у него есть отдельные фразы.

— Да, есть, — сказал Литтон. — На днях я читал его Нортону и Джеймсу, и они кричали на меня — они не захотели слушать.

— Но меня немного пугает «целое».

— У меня тоже?

— Да. Вы легко входите в тему, — ответила я. — А тема великопепная — Георг IV — одно удовольствие работать над ней.

— Что с вашим романом?

— О, я запустила в него руки, будто в кадку с отрубями*.

— Замечательно. И он совсем другой.

— Да, я — это двадцать человек.

— Всегда словно смотришь со стороны. С Георгом IV самое ужасное то, что никто не упоминает факты, которые я считаю важными. Историю надо переписывать. Она вся мораль...

— И сражения, — закончила я фразу.

Потом мы вместе шли по улицам, потому что мне надо было купить кофе.

Четверг, 26 мая

Вчера около полутора часов просидела на Гордон-сквер, лениво беседуя с Мэйнардом. Иногда мне жать, что я записываю разговоры людей, а не описываю их самих. Трудность в том, что они слишком мало говорят. Мэйнард сказал, будто любит похвалы и ему всегда хотелось хвастаться. Он сказал, якобы многие мужчины женятся, чтобы иметь под рукой человека, которому можно похвастаться. Однако, сказала я, странно хвастаться, когда знаешь, что тебе все равно не верят. И тем более странно, что именно вы жаждете похвал. И вам, и Литтону незачем хвастаться — вы настоящие триумфаторы. Можете просто сидеть и ничего не говорить. Я люблю похвалы, сказал он. Они нужны мне, потому что есть вещи, в которых я сомневаюсь. Потом мы говорили о публикациях и о «Хогарт-пресс»; и о романах. «Зачем мне рассказывают, на каком автобусе он поехал? — спросил он. — И почему миссис Хилбери** не может иногда побыть дочерью Кэтрин?» — «О, это скучная книга, я знаю, — сказала я, — но неужели вы не понимаете, что сначала нужно все в нее впихнуть, а уж потом можно позволять себе пропуски?» — «Лучшее, что вы написали, — сказал он, — воспоминания о Джордже, Вам надо делать вид, будто вы пишете о реальных людях, а уж потом что-то выдумывать».

* В ней прятали рождественские подарки. Речь, вероятно, идет о романе «Комната Джейкоба» или «Миссис Дэллоуэй».

** Персонаж романа «Миссис Дэллоуэй» В. Вулф,

Я была, конечно же, смущена (боже мой, какая чепуха — ведь если Джордж — лучшее, то я обыкновенная бумагомарательница).

Суббота, 13 августа

«Кольридж был так же не способен к действию, как Лэм, но совсем по другой причине. Он был хорошего роста, но вялый и солидный, тогда как Лэм отличался худобой и хрупкостью. Наверное, его мучило то, что он выглядел старше своих лет, ведь он не признавал физических упражнений. Поседел он в пятьдесят лет, а так как обычно одевался во все черное и отличался внешней невозмутимостью, то имел аристократический вид и в течение нескольких лет перед смертью выглядел почтенным старцем. Тем не менее, было что-то непобедимо юношеское в выражении его круглого, румяного лица с приятными чертами и открытым, ленивым, добродушным ртом. Мальчишеское выражение очень идет тому, кто грезит и размышляет, как это делал в детские годы он, проживший всю жизнь в стороне от остального мира, в окружении книг и цветов. У него был высокий и безмятежный, словно мраморный, лоб пророка и прекрасные глаза, в которых отражался активный ум, живой и подвижный, словно мысли доставляли обоим естественную радость.

И вправду ведь доставляли радость. Хэзлитт говорил, что талант Кольриджа являлся ему в виде духа с головой и крыльями, парящего в небесах. Мне он представляется иначе. Я вижу его добродушным волшебником, который очень любит землю и с удовольствием отдыхает в удобном кресле, ибо в состоянии собрать вокруг себя небеса, стоит ему лишь мигнуть глазом. Он мог тысячу раз менять свои мысли и, когда поспевал обед, легко прогонял их от себя. Могучий интеллект и чувственное тело; ну а причина, почему он предпочитал говорить и мечтать, заключается в том, что такому телу вряд ли нужно что-то еще. Полагаю, К. не был сенсуалистом в дурном смысле...» Вот и все, что я смогла процитировать из воспоминаний Ли Ханта (том II, страница 223), предполагая в будущем желание для чего-нибудь это использовать. Л. Х. — наш духовный дедушка, свободный человек. С ним наверняка разговаривали, как с Десмондом. Легкомысленный был человек, должна сказать, но цивилизованный, го-

гораздо цивилизованнее моего собственного дедушки. Свободный дух этих энергичных людей двигает вперед мир, и когда случайно наталкиваешься на одного из них в неведомых пустошах прошлых времен, то говоришь: «Ты моего племени» — это великий комплимент. В большинстве своем люди, умершие сто лет назад, уже совсем чужие. С ними ведешь себя вежливо, но не можешь избавиться от неловкости. Шелли умер, держа в руке книжку «Ламия», взятую у Хэзлитта. Х. не принял бы книгу ни от кого другого и сжег ее в похоронном огне. А после похорон? Х. и Байрон надрывались от хохота. Такова человеческая природа, и Х. не мучился сомнениями на этот счет. Мне нравится его любопытство к людям: история очень скучна со всеми своими сражениями и законами; даже морские путешествия скучны, потому что путешественник описывает красоты вместо того, чтобы походить по каютам и рассказать, как выглядят матросы, что они носят, что едят, что говорят, как себя ведут.

Леди Карлейль умерла. Гораздо сильнее симпатизируешь людям, когда их сбивает с ног несчастье, нежели когда они празднуют победу. У нее было много надежд и талантов, и, все потеряв (так говорят), она умерла во сне, пережив своих пятерых сыновей и убитую войной веру в человечность.

Среда, 17 августа

Пока Л. не вернулся из Лондона, от Фергюссона, конторы и т.д., я могу уделить немного внимания дневнику. Мне кажется, желание писать возвращается ко мне. Я провела целый день, отвлекаясь и вновь берясь за перо, сочиняя статью — возможно, для Сквайра, потому что ему нужно что-нибудь и потому что миссис Хоуксфорд сказала миссис Томпсетт, будто я одна из самых умных, если не самая умная женщина в Англии. Значит, мне не столько сил не хватало, сколько похвалы. Вчера меня увлек поток, как говорится в Библии. Вызванный доктор Валлене пришел после обеда и нанес мне визит. Жаль, не могу записать нашу беседу. Мягкий, с тяжелыми веками, человек средних лет, сын льюисского доктора, никогда никуда не уезжал и всегда совестливо исповедовал не-*

* Поэма Джона Китса.

сколько самых общих медицинских правил, которые запомнил много лет назад. Он говорит по-французски, но употребляет только самые простые слова. Поскольку Л. и я владеем французским лучше, он предпочитает общие темы — говорит о старике Верролле и о том, как тот намеренно уморил себя голодом. «Надо было отправить его в больницу, — задумчиво произносит доктор В. — Один раз я это сделал. Его сестра до сих пор там — совсем сумасшедшая, полагаю — плохая семья, очень плохая. Я сидел с ним в вашей гостиной. Нам приходилось сидеть прямо под трубой, чтобы согреться. Я пытался заинтересовать его шахматами. Не получилось. Его уже как будто ничего не интересовало. Слишком он был стар — и слаб. Я не мог его отправить». И он уморил себя голодом, делая вид, будто работает в саду.

Скрестив ноги и задумчиво трогая усики, В. спросил меня, чем я занимаюсь. (Он считает меня хронической больной и настоящей леди.) Я ответила, что пишу. «Да? Романы? Что-нибудь легкое?» Романы. «Среди моих пациенток есть еще одна писательница — миссис Дюдини. Мне надо было встряхнуть ее — чтобы она выполнила договор, договор на новый роман. Она считает Льюиса слишком шумным. А еще у нас есть Марион Кроуфорд... Мистер Дюдини — король головоломок. Предложите ему любую головоломку — и он обязательно ее разгадает. Он сам сочиняет головоломки, и их печатают в меню. И еще пишет о головоломках в газетах.

— Он помогал разгадывать головоломки во время войны? — спросила я.

— Не знаю точно. Но ему писало много солдат — он король головоломок.

Доктор Валлене раздвинул и вновь скрестил ноги, но по-другому. Наконец он ушел, пригласив Л. стать членом шахматного клуба Льюиса, который я сама посещала бы с большим удовольствием; проникновение в совершенно незнакомую среду меня нестерпимо завораживает, тем более что мне не суждено присоединиться к компании доктора Валленса и короля головоломок.

Четверг, 18 августа

Писать нечего; разве что о невыносимом приступе беспокойства. Вот я, прикованная к моей скале; отлученная от ра-

боты; обреченная вновь и вновь мучиться тревогой, злостью, раздражением и навязчивой идеей. Сегодня не могу тулять и не должна работать. За какую книгу я ни принимаюсь, она бьется у меня в голове как часть статьи, которую мне хочется написать. В целом Сассексе нет никого несчастнее меня; или более меня осознающего беспредельные внутренние возможности наслаждения, которыми я не в состоянии воспользоваться. Солнце поливает (нет, не поливает, скорее проливается) желтые поля и длинные низкие амбары; и что бы я не отдала, лишь бы, грязной и потной, пройти по фирлским лесам, когда все мускулы ноют от усталости, а мысли излечены сладкой лавандой и вновь здоровые, прохладные и созревшие для завтрашней работы. Как бы я все подмечала — придумывала подходящую фразу, чтобы сидела, как перчатка; а потом на пыльной дороге нажимала бы на педали, и моя история стала бы рассказываться сама собой; а потом солнце зашло бы; я была бы дома и после обеда то ли читала, то ли проживала бы немного поэзии, моя плоть как будто растворялась бы и сквозь нее прорастали красные и белые цветы. Ну вот! Половины моего раздражения словно не бывало. Слышно, как бедняжка Л. то приближается, то удаляется со своей газонокосилкой; такую жену, как я, надо сажать в клетку под замок. Чтобы не укусила! А ведь он весь вчерашний день пробегал ради меня по Лондону. Все же, если ты Прометей, если скала крепка и слепни злы, не может быть ни благодарности, ни любви, ни других благородных чувств. Август проходит зря.

Успокаивает лишь мысль о людях, которые страдают сильнее меня; и это, полагаю, есть абберрация эгоизма. Сейчас займусь, если смогу, расписанием на ближайшие ужасные дни.

Бедняжка мадемуазель Ланглан*, побежденная миссис Мэллори, бросила ракетку и разразилась слезами. Думаю, у нее непомерная гордыня. Она, верно, считает, что, будучи мадемуазель Ланглан, владеет всем миром и непобедима, как Наполеон. Армстронг, играя в крикетном отборочном матче, занял позицию возле ворот и не двигался, позволяя другим

* Вероятно, знаменитая французская теннисистка Сюзанна Ланглан (1889—1938) (Прим. переводчика).

игрокам устраиваться, как они хотят; вся игра превратилась в фарс, потому что не хватило времени по-настоящему ее разыграть. Вот и у Аякса в греческой пьесе был такой же характер — который мы все дружно называем героическим, когда речь идет об Аяксе. Грекам все прощается. С прошлого года я ни строчки не прочитала по-гречески, а жаль. Ничего, еще вернусь к этому языку, хотя бы из снобизма; буду читать по-гречески, когда стану совсем старухой; такой старухой, как та, что сидит в дверях дома, и волосы у нее похожи на театральный парик, такие они белые и густые. Изредка движимая любовью к человечеству, я, бывает, испытываю жалость к беднякам, которые не читают Шекспира, поэтому была искренне тронута щедрым демократическим вздором в «Олд Вик»*, когда там играли «Отелло» для бедных мужчин, женщин, детей. Удивительное благородство и удивительная убогость. Я пишу бессвязно, так что не удивлюсь, если в итоге получится чепуха. В самом деле, любое столкновение с нормальными пропорциями выводит меня из равновесия. Я очень хорошо знаю свою комнату и вид из окна, но они совсем по-другому видятся мне, когда я заперта в доме.

Понедельник, 12 сентября

Прочитала «Крылья голубки»** и теперь пишу свои замечания, Его манипуляции становятся столь совершенными к концу, что перестаешь видеть художника и вместо него видишь обычного человека, который излагает предмет. И еще я думаю, что он как будто теряет ощущение кризиса. Становится чрезмерно простодушным. Словно слышу, как он сам говорит — как бы это сделать? Когда все нацелены на кризис, истинный писатель избегает его. Никогда не проявляй активность, и это произведет куда более сильное впечатление. В конце концов, после всех фокусов и игр с шелковыми носовыми платками перестаешь видеть того, кто стоит за всем этим. Так, в результате манипуляций исчезает Милли. Он переигрывает. И никто не в состоянии прочитать это во второй раз. Хватка и напряжение потрясающие. Никаких провисающих или слабых фраз, но многое уничтожается из-за робости,

* Театр в Южной части Лондона.

** Роман Генри Джеймса.

или совестливости, или чего-то еще. В высшей степени американская, должна признать, решимость продемонстрировать хорошее воспитание и немного глупое отношение к хорошему воспитанию.

Вторник, 15 ноября

Правда, правда — это ужасно — пятнадцать дней ноября миновали, а мой дневник не стал мудрее. Но когда ничего не записано, можно с полным основанием предположить, что я строчила книги; или мы в четыре часа пили чай, а потом я гуляла; или нужно было что-то прочитывать для будущей работы; или меня поздно не было дома, а потом я вернулась с большим количеством трафаретов и решила сразу же попробовать хотя бы один. Мы были в Родмелле, и целый день дул ветер с арктических полей; так что мы грелись у камина. За день до этого я написала последние слова «Джейкоба» — в пятницу, четвертого ноября, если быть точной, а начала я писать шестнадцатого апреля 1920 года: за вычетом полугодового перерыва из-за сборника «Понедельник ли, вторник» и болезни получится год. Пока еще не перечитывала. По просьбе «Таймс» сражаюсь с рассказами Генри Джеймса о призраках, правда, сейчас, пресытившись, отложила их. Потом надо будет сделать Гарди; потом хочу написать о жизни Ньюнса; потом надо будет почистить «Джейкоба»; и на днях, если только у меня хватит сил взяться за письма Пастонов, потом *Ридинг*: на самом деле я уже взялась за «Ридинг» и буду думать, надеюсь, о следующем романе. Остается один вопрос — выдержат ли мои пальцы?

Понедельник, 19 декабря

Припишу-ка я постскрипту — в ожидании, когда вернут книжки, — о природе рецензирования.

— Миссис Вулф? Хочу задать вам пару вопросов о вашей статье, посвященной Генри Джеймсу.

Первый (всего лишь о правильном названии одного из рассказов).

Вы пишете «похотливый». Конечно, я не хочу, чтобы вы заменяли его, но все-таки это довольно резко в отношении того, что пишет Генри Джеймс. Я не перечитывал его рассказ — но все же у меня сложилось впечатление...

— Да, я думала об этом, когда читала: у всех свои впечатления.

— А вам известно первичное значение этого слова? Оно — ах — «грязный». Итак, несчастный дорогой старый Генри Джеймс. Во всяком случае, подумайте об этом и перезвоните мне через двадцать минут.

Я подумала и пришла к требуемому выводу через двадцать с половиной минут. А что делать? Он достаточно ясно дал мне понять, что не только не потерпит слово «похотливый», но и не в восторге от всего остального. Такое теперь случается все чаще, и я уже подумываю, то ли вообще бросить рецензирование, дав соответствующие объяснения, то ли потворствовать редактору, то ли плыть против течения. Последнее, пожалуй, будет правильнее, но почему-то при мысли об этом начинается спазм. Пишешь скованно, несвободно. Чтобы там ни было, пока пусть все идет своим чередом, я со смирением выслушаю брань. Наверняка читатели выразят недовольство, а бедняга Брюс*, обожающий свою газету как единственного ребенка, ненавидит публичную критику и суров со мной не столько из-за моего неуважения к бедному старому Генри, сколько из-за попреков в адрес его «Сапплмент». Как много времени потеряно впустую!

* Брюс Ричмонд.

Среда, 15 февраля

Попытаюсь написать о том, что сейчас читаю. Во-первых, Пикок: «Аббатство кошмаров» и «Замок Кротчет». Оба гораздо лучше, чем запомнились мне. Несомненно, Пикок — это вкус, который обретаешь в зрелые годы. Когда я была молодой и читала его в Греции, в поезде, сидя напротив Тоби*, помнится, мне было ужасно приятно, когда тот с одобрением отнесся к моему замечанию о том, что Мередит брал своих женщин у Пикока и что все они очень красивые, сказала я, желая подстегнуть свой восторг. Тоби это понравилось. Полагаю, мне хотелось тайны, романтики, психологии. А теперь мне больше всего хочется красивой прозы. Я все больше и больше наслаждаюсь им. И мне все больше нравится его сатира. И скептицизм его мне нравится. Нравится его интеллектуальность. Более того, причудливость срабатывает у него куда лучше притворной психологичности. Один красный мазок на щеке — вот и все, что он дает, но мне этого достаточно, чтобы довообразить остальное. Потом, они очень короткие; и я читаю их на желтоватой бумаге, прекрасно подходящей для первых изданий.

Совершенство Скотта вновь переворачивает мне душу. «Пуритане». Я на середине; и должна вытерпеть скучные церемонии; однако в целом он не скучный, потому что все идеально пригнано — даже его странный одноцветный пейзаж, нанесенный тонким слоем сепии и жженой охры. Эдит и Генри тоже могли бы быть типичными персонажами старого мастера, будь они помещены в нужное место. А Кадди и Маус, как обычно, шагают прочь, сильные, словно сама жизнь. Тем не менее, смею

* Тоби Стивен, брат В. Вулф.

заметить, освещение и повествование не позволяют ему от души позабавиться, как в «Антикварию».

Четверг, 16 февраля

Продолжаю — конечно же, последние главы пустые и серые, слишком вымученные; видно, разум мешает излиться естественному потоку. Мортон — недалекого ума; Эдит — попросту тупа; Ивандейл — славный, но ни то ни сё; проповедническую скуку я приняла как само собой разумеющееся. Все же — все же — хочу знать, о чем следующая глава; этим галантным старикам можно простить что угодно.

Насколько следует доверять нашим историческим портретистам, если от меня требуется много труда, чтобы описать лицо Вайолет Диккинсон, которое я вчера наблюдала в течение двух часов? Невозможно не услышать ее джазовый распев, когда она, входя в холл, заговаривает с Лотти. «Где мое повидло? Как миссис Вулф? Ей лучше? Где она?» Одновременно она снимает пальто, отдает зонтик и не слушает ответов. Потом является ко мне в комнату, гигантски высокая, в сшитом на заказ костюме, с перламутровым дельфином на черной ленте, показывающим красный язык; погрубевшая; с выпуклыми голубыми глазами на белом лице; с как будто отбитым кончиком носа; и маленькими, прелестными, аристократическими ручками. Отлично; но ее разговоры? Поскольку сама природа не в силах это воспроизвести — поскольку природа намеренно упустила какой-то винтик, — что могу я? Такая чепуха выбрать старика Рибблсдейла Хорнера* в Правление — Ли. Р. из Асторов** — отказали ей в инвестициях. Твоя подруга, мисс Шрейнер, уехала в Бангкок. Помнишь ее ботинки и туфли на Итон-сквер? Сказать по правде, не помню я никакой Шрейнер и никаких ботинок на Итон-сквер тоже. Потом о возвращении Германа Нормана, который говорит, что в Тегеране все ужасно.

— Он мой кузен, — сказала я.

— Неужели?

И мы заговорили о Норманах. Леонард и Ральф пили чай и время от времени попыхивали сигарами. Итак, все это, соот-

* Лорд Рибблсдейл Хорнер — отец леди Асквит.

** Лорд Астор.

ветствующим образом соединенное вместе, могло бы составить весьма любопытный набросок в стиле Джейн Остин. Однако старушка Джейн, будь она в настроении, обратила бы внимание совсем на другое — впрочем, не думаю; ибо старушка Джейн не любила абстрактных размышлений; нельзя сделать призрачным то, что вилося вокруг нее и что придает ей своеобразную красоту. Вайолет умолкает — хотя верит в старую истину, что беседа не должна прерываться, — и становится человечнее и добрее; выказывает то приправленное юмором добродушие, которому до всего есть дело — естественно; в нем есть соль и ощущение реальности; у нее размах хорошей романистки, умеющей помещать вещи в естественную для них атмосферу, правда, все это слишком фрагментарно и отрывочно. Она сказала мне, что у нее нет желания жить. «Я очень счастлива, — сказала она. — О да, очень счастлива — но зачем мне еще жить? Ради чего?» — «Почему бы не ради друзей?» — «Все мои друзья умерли». — «Оззи?» — «О, ему и без меня будет хорошо. Надо уладить все дела и исчезнуть». — «Вы верите в бессмертие?» — «Нет. Не знаю, чем буду. Наверно, прахом, пылью». Она, конечно же, рассмеялась; и все же, кажется, у нее достаточно воображения, чтобы ей верили. Конечно, мне нравится — или «любовь» более подходящее слово для таких странных глубоких давних привязанностей, которые берут начало в юности и с которыми ассоциируется много важного? Я смотрела в ее большие красивые голубые глаза, такие невинные, добрые, открытые, и возвращалась мыслями к Фритему и Гайд-Парк-гейт. Но все равно картину из этого не составишь. Почему-то мне кажется, что она похожа на набросок талантливой женщины. У нее есть текучие дары, но нет костяка.

Пятница, 17 февраля

Только что приняла фенацетин — то есть слегка неприятный отзыв в «Дайал» о «Понедельнике ли, вторник» в пересказе Леонарда, это тем более неприятно, что я в общем-то надеялась на одобрительную рецензию в августовском номере. Похоже, никому не понравилось. И все же я радуюсь, ибо обрела философский взгляд на критику. Это дает ощущение свободы. Пишу что хочу, и все тут. Более того, Бог свидетель, мне хватает рассудительности.

Суббота, 18 февраля

Вновь мой разум отзечен от мысли о смерти. Что-то я хотела вчера сказать о славе. О, кажется, я окончательно решила не быть популярной, вполне искренне, и смотрю на невниманье и обиды как на часть сделки. Я пишу что хочу, и они говорят что хотят. Как писательницу меня единственно интересует, насколько я начинаю понимать, чудаковатая индивидуальность; не сила; не страсть; не страх, но тогда я спрашиваю себя, не является ли «чудаковатая индивидуальность» как раз тем качеством, к которому я отношусь с уважением. Пикок, например; Бэрроу; Донн; у Дугласа в «Одиночестве» это тоже отчасти есть. Кто еще приходит в голову? «Письма» Фицджеральда. Людей с таким даром еще долго прославляют после того, как мелодичная энергичная музыка становится банальной. В доказательство этого я прочитала, как маленький мальчик, которому за успехи подарили в воскресной школе книжку Мари Корелли, тотчас покончил с собой; и коронер заметил, что ее книга не то, что он назвал бы «славной книжкой». Поэтому не исключено, что «Могучий атом»* уйдет в небытие, а «Ночь и день» будет востребована, хотя, похоже, сейчас лучше всего относятся к «Путешествию». Это меня вдохновляет. Через семь лет (семь лет — в следующем апреле) «Дайал» говорит о его высочайших художественных достоинствах. Если через семь лет они скажут то же самое о «Ночи и дне», я буду довольна; но придется ждать четырнадцать лет, чтобы кто-нибудь принял близко к сердцу «Понедельник ли, вторник». Хочу прочитать письма Байрона, но сначала нужно закончить «Принцессу Клевскую»**. Этот шедевр долго не давал покоя моей совести. Я пишу о литературе и не читала эту классическую вещь! Однако чтение классики частенько довольно тяжкий труд. Особенно такой классики, которая стала классикой благодаря безупречному вкусу автора, его самообладанию, выдержанной художественной форме. Ни одна волосинка не выбивается из прически. Полагаю, это очень красиво, но трудно оценить. Все персонажи благородны. Движения величественны. Конструкция немного тяжеловата. Истории надо рассказывать. Письма опускать. Мы следим за движениями человеческого сердца, а не мус-

* Роман Мари Корелли.

** Роман Мари Лафайет.

кулов и не рока. Однако и тут появляются обстоятельства, когда движения благородного сердца остаются невидимыми. Например, в отношениях мадам Клевской и ее матери есть странный необъяснимый провал. Если бы я рецензировала книгу, думаю, мне следовало бы писать о красоте характеров. Слава Богу, что не надо ее рецензировать. За несколько минут я просмотрела рецензии в «Нью стейтсмент», а между кофе и сигаретой прочитала «Нейшн»; вот так лучшие умы Англии (говоря метафорически) исходят потом, ибо не знаю, сколько часов потребовалось, чтобы доставить мне минутное удовольствие. Когда я читаю рецензии, то зрительно сжимаю колонку, останавливая внимание на одном-двух предложениях; хорошая эта книга или плохая? А потом вношу правку в зависимости от того, что мне известно о книге и рецензенте. Но когда я сама пишу рецензию, то пишу каждое предложение так, словно мне придется предстать перед тремя Высшими Судьями. Не могу поверить, что меня тоже ужимают и мне тоже не доверяют. Рецензии все чаще кажутся мне пустыми. С другой стороны, критика все больше поглощает меня. Но после шести недель инфлюэнцы мой мозг не способен на утренние фонтаны мыслей. Записная книжка лежит, закрытая, возле кровати. Поначалу я даже читать почти не могла из-за массы искавших выход мыслей. Мне надо было немедленно их записать. Это большое удовольствие. Немного воздуха, проезжающие мимо автобусы, прогулки по берегу реки, если на то будет Божья воля, пошлют мне искры вдохновения. Я самым непривычным образом вишу между жизнью и смертью. Где мой нож? Надо разрезать лорда Байрона.

Пятница, 23 июня

«Джейкоба», как я уже говорила, печатает мисс Грин, и он 14 июля пересечет Атлантику. Потом начнется период сомнений, взлетов и падений. Я слежу за собой на этот счет. Мне надо написать рассказ для Элиота, жизнеописание для Сквайра и для «Ридинг»; так что крутись как хочешь. Если они скажут, что это умный эксперимент, я отвезу «Миссис Дэллоуэй» на Бонд-стрит как законченную работу. Если они скажут, что так нельзя, *

* Возможно, имеется в виду Элеонора Анна Ормерол — энтомолог (Прим, переводчика).

я напомню им о фантастической мисс Ормерод*. Если они скажут: «Вы не можете заставить нас любить ваших персонажей», — я скажу, пусть читают мою критику. Что же они скажут о «Джейкобе»? Думаю, роман сумасшедший: бессвязная рапсодия; не знаю. Надо перечитать и выработать свое мнение. «Перечитывая романы» — заглавие очень трудной, но довольно интересной статьи для «Supt.».

Среда, 26 июля

В воскресенье Л. просматривал «Комнату Джейкоба». Он считает, что это моя лучшая книга. Его первые слова — она поразительно хорошо написана. Он спорит из-за нее. Называет ее гениальной; говорит, что она не похожа ни на одну другую; говорит, что люди в ней как призраки; говорит, что она странная; говорит, что у меня нет мировоззрения; люди у меня как куклы, которых рок двигает туда-сюда. Он не согласен с тем, что рок имеет власть над людьми. Думает, что в следующий раз я должна использовать свой «метод» на одном-двух персонажах; находит книгу интересной и прекрасной, без упущений (кроме, быть может, вечеринки) и вполне понятной. Сифилис настолько сильно смутил мой рассудок, что я не смогла записать все точно; я взволнована и возбуждена. Нов целом я довольна. Однако нам неизвестно, что скажет публика. У меня нет сомнений в том, что я нашла (в сорок лет), как высказаться по-своему; мне это очень интересно, и у меня есть ощущение, будто я могу идти дальше, не ожидая похвал.

Среда, 16 августа

Надо прочитать «Улисса» и записать мои за и против. Уже одолела двести страниц — это еще не треть; и была удивлена, вдохновлена, очарована, заинтересована первыми двумя-тремя главами — до конца сцены на кладбище, а потом удивлена, утомлена, раздражена и разочарована бесконечным подростковым расчесыванием прыщей. И Том*, великий Том, считает этот роман равным «Войне и миру»! Неграмотная грубая книга, как мне кажется; книга бедного самоучки. *

* Томас Стерна Элиот.

а мы все знаем, какие они печальные, какие эгоистичные, напористые, грубые, страшные и в высшей степени тошнотворные. Если мясо можно сварить, зачем его есть сырым? И еще я думаю, если страдаешь анемией, как Том, то в крови видишь красоту. Так как я в этом смысле человек вполне нормальный, то мне очень скоро вновь захотелось классики. Это я могу дочитать потом. В моей критике не должно быть компромиссов. Я ставлю веху, чтобы отметить двухсотую страницу.

Что до меня самой, то я все время копаюсь в своих мыслях и понемногу черпаю из них для «Миссис Дэллоуэй». Кое-что мне не нравится. Слишком быстро я пишу. Пора заняться ужиманием. В рекордное время, за десять дней, я написала четыре тысячи слов для «Ридинг», но это был всего лишь незамысловатый скетч о Пастонах, да еще сочиненный с помощью других книг. А потом я оторвалась от него, соглашаясь со своей теорией перемены занятий, чтобы писать «Миссис Дэллоуэй» (которая станет главной, как я начинаю понимать). Еще надо сделать Чосера; и закончить первую главу в начале сентября. К тому времени я опять, наверное, начну заниматься греческим языком, так что будущее у меня размечено, и когда «Джейкоба» отвергнут в Америке и проигнорируют в Англии, я буду с философским безразличием пахать свое поле. Они собирают урожай по всей стране, что работает на мою метафору и как будто оправдывает ее. Однако мне не нужны оправдания, поскольку я не пишу для «Lit. Surv.». Буду ли я опять писать для них?

Вторник. 22 августа

Есть способ заставить себя вновь вернуться к писательству. Сначала легкие упражнения на воздухе. Потом чтение хороших книг. Ошибка думать, будто литература может возникнуть из необработанного материала. Писатель должен знать жизнь — правильно, поэтому мне так не понравился набег Сиднея*, — но он должен обрести форму; должен уметь концентрироваться, бить в одну точку, а не привлекать внимание к разрозненным чертам характера того персонажа,

* Сэр Сидней Ватерлоу.

что живет в мозгу автора. Приходит Сидней, и я — Вирджиния; когда же я пишу, то я всего лишь восприимчивость. Иногда мне нравится быть Вирджинией, но только если я легкомысленная, разносторонняя и общительная. Сейчас, пока мы тут, мне бы хотелось быть лишь восприимчивостью. Кстати, Теккерей — хорошее чтение, очень живое, с «приемами», как говорят через дорогу у Шэнков, поразительной пронизательности.

Понедельник, 28 августа

Снова начинаю заниматься греческим языком и должна выработать план: сегодня двадцать восьмое; «Миссис Дэллоуэй» закончить в субботу второго сентября; с воскресенья, третьего, до пятницы, восьмого, начать Чосера. Чосер — та глава, которую я имею в виду, — должна быть закончена к двадцать второму сентября. А потом? Писать следующую главу «Миссис Дэллоуэй» — если ей нужна следующая глава; и должна ли она называться «Премьер-министр»? Это будет до нашего возвращения — скажем, до двенадцатого октября. Потом я должна начать греческую главу. Итак, с сегодняшнего дня, то есть с двадцать восьмого августа, и до двенадцатого октября — чуть больше шести недель, — однако мне нужны перерывы. А что я буду читать? Из Гомера; одну греческую пьесу; из Платона; Циммерна; Шеппарда как учебник; «Жизнь» Бентли; если читать основательно, то этого хватит. Какую греческую пьесу? И сколько Гомера? Что из Платона? Впрочем, есть антология. Из-за елизаветинцев закончу на «Одиссее». И мне надо немножко почитать Ибсена, чтобы сравнить его с Еврипидом, Расина сравнить с Софоклом, возможно, Марло сравнить с Эсхилом. Звучит очень научно; но ведь может быть забавно, а если нет, то не стоит и продолжать.

Среда, 6 сентября

Через день привозят гранки*, и я легко могла бы довести себя до депрессии, если бы вникала в них. Сейчас это читается как неглубокая и плоская проза; слова едва касаются бумаги; и мне наверняка скажут, что я написала изящную фан-

* Речь идет о «Комнате Джейкоба».

тазию, имеющую мало общего с реальной жизнью. Неужели скажут? Как бы то ни было, природа послушно убеждает меня в иллюзии, что я на пороге написания чего-то хорошего; чего-то глубокого, стоящего, легкого и, как ногти, твердого, сверкающего, как бриллианты.

Закончила читать «Улисса» и думаю, что этот выстрел мимо цели. Талант, конечно, чувствуется, но низшей пробы. Слишком многословно. Противно. Претенциозно. Невоспитанно, и не только в общепринятом смысле, но и в литературном тоже. Первоклассная проза, как я понимаю, требует не перебарщивать с трюками; слишком много фокусов — это опасно. Мне все время приходил на память неоперившийся ученик закрытой школы, у которого много идей и много энергии, но который из-за неуверенности в себе и эгоизма теряет голову и становится экстравагантным, манерным, шумным, неловким, заставляет доброжелательных людей жалеть себя, а безразличных — раздражаться; и все надеются, что у него это пройдет с возрастом; но так как Джойсу уже сорок, то надежды вряд ли осуществятся. Я читала невнимательно; и лишь один раз; а это ненадежно, и, несомненно, я более небрежно, чем требуется по совести, отнеслась к его достоинствам. Я чувствую попадание и жжение мириадом крошечных пуль; однако от этого не получаешь смертельного удара прямо в лицо — как от Толстого, например; однако смешно сравнивать его с Толстым.

Четверг, 7 сентября

Когда я написала это, Д. вручил мне очень умную рецензию на «Улисса» в американской «Нейшн», которая в первый раз анализирует содержание романа; и, конечно же, делает это куда убедительнее, чем сделала я. Все же, мне кажется, в первом впечатлении есть свои достоинства и своя правда; так что я не отрекаюсь от своего мнения. Надо еще раз перечитать некоторые главы. Возможно, современникам не под силу оценить настоящую красоту; но она, полагаю, должна их ошеломить; а я не была ошеломлена. И, опять же, я была раздражена; а виноват Том*, который заставил меня читать своими похвалами.

* Т.С. Элиот.

Четверг, 26 сентября

Уиттеринг. Морган был в пятницу; Том — в субботу. Мой разговор с Томом заслуживает быть записанным, однако не получится, потому что темнеет; как бы то ни было, мы даже по отдельности не можем записать наш разговор, как договорились на днях в Чарльстоне. Много говорили об «Улиссе». Том сказал: «Он чисто литературный писатель. В основе у него Патер с примесью Ньюмена». Я сказала, что он зрелый — козел, но не ожидала, что Том согласится. А Том согласился; и сказал, что пропустил много важного. Книга станет вехой, потому что уничтожила девятнадцатый век. После нее Джойсу больше не о чем писать. Он показал тшету всех английских стилей. Кое-что Том считает прекрасным. Однако у Джойса не было «великой идеи»; она не входила в его планы. Том думает, что Джойс сделал все, что намеревался сделать. Но не считает, что Джойс сумел по-новому показать внутреннюю жизнь человека, — ничего нового, в отличие от Толстого. Блум ничего не открывает читателю. В самом деле, сказал он, что касается меня, то этот новый метод подачи психологии доказал свою несостоятельность. Он не говорит столько, сколько может сказать случайный взгляд извне. Я сказала, что, по-моему, «Пенденнис»* в этом смысле лучше. (Лошади объедают траву под моим окном; кричит маленькая сова; а я пишу чепуху.) Потом мы перешли к С.Ситвеллу, который использует лишь свою восприимчивость — один из смертных грехов, по мнению Тома; потом к Достоевскому — мы сошлись на гибели английской литературы; Синг — плутовство; современное состояние катастрофическое, потому что нет соответствующей формы; он не ждет ничего хорошего; он сказал, что теперь надо быть первоклассным поэтом, чтобы вообще считаться поэтом: когда жили великие поэты, на маленьких поэтов падал ответ их пламени, и они все-таки не были пустышками. А теперь нет великого поэта. Когда был последний? — спросила я, и он сказал, что ни один не заинтересовал его со времен Джонсона. Браунинг, сказал он, был ленив: он сказал, они все были ленивыми. А Маколей

* «История Пенденниса, его удач и злоключений, его друзей и его злейшего врага» — роман У.М.Теккерера.

испортил английскую прозу. Мы оба согласились с тем, что у людей появился страх перед английским языком. Он сказал, это потому, что люди стали говорить по-книжному, но книг читают недостаточно. Надо внимательно изучить все стили. Он считает, что Д.Г. Лоуренс случаен, особенно в «Жезле Аарона», в его последней книге; там есть великие куски; но он совершенно некомпетентный писатель. Хотя умеет твердо держаться своих убеждений. (Стало темно — десять минут восьмого после плохого дождливого дня.)

Среда, 4 октября

Я все-таки немного чванная и упрямая, потому что вчера получила письмо от Брейса*: «Мы думаем, что “Комната Джейкоба” в высшей степени необычная и прекрасная книга. У вас, конечно же, свой метод, и нелегко предсказать, сколько читателей примут его; но несомненно, что у него найдутся свои энтузиасты, и мы с удовольствием издадим вашу книгу» — или что-то в этом роде. Поскольку это первая оценка моей работы, полученная от незаинтересованного лица, я довольна. Значит, роман производит некоторое впечатление; это не просто холодный фейерверк. Мы думаем, он выйдет в свет к двадцать седьмому октября. Полагаю, Дакворт немного злится на меня. Я вдохнула свободы. Мне думается, мою независимость от того, кто что скажет, публика воспримет правильно, разумно и естественно. Наконец-то мне нравится читать то, что я пишу. Кажется, теперь это ближе мне, чем прежде. Я справилась со своей задачей лучше, чем ожидала. «Миссис Дэллоуэй» и глава о Чосере закончены; я прочитала пять книг «Одиссеи»; «Улисса»; и теперь берусь за Пруста. Еще я читаю Чосера и Пастонов. Очевидно, что мой план двух почти одновременных книг вполне реален, и, естественно, мне нравится читать, имея перед собой цель. Мне надо написать еще одну статью для «Supt.» — об эссе — в любое время; так что я свободна. Постоянно читаю по-гречески и в пятницу утром начинаю писать «Премьер-министра». Буду читать трилогию, немного Софокла, Еврипида и диалог Платона; еще жизнеописания Бенгли

* Брейс Харкорт.

и Джебба. В сорок лет начинаю изучать механизм собственного мозга — как получить максимальное удовольствие и извлечь максимальную пользу. Секрет, думаю, в том, что работу надо считать удовольствием.

Суббота, 14 октября

Получила два письма от Диттона и Каррингтон о «Комнате Джейкоба» и написала не знаю сколько конвертов; мы в преддверии выпуска книги. В понедельник должна позировать для портрета Джону из «Лондон». Ричмонд спрашивает в письме о дате публикации, чтобы они могли отреагировать в четверг. Мои ощущения? Я спокойна. Литтон не мог бы похвалить меня сильнее. Предсказывает роману бессмертие как поэзии; боится за мою прозу; прекрасная проза, etc. Литтон слишком меня захвалил, чтобы доставить настоящее удовольствие; или, не исключено, нервы устали. Я хочу, чтобы волны остались позади и я опять выплыла в спокойную воду. Я хочу писать, не чувствуя на себе недремлющего ока. «Миссис Дэллоуэй» увеличивается до книги; и там будет исследование, в общих чертах, сумасшествия и самоубийства; мир, увиденный одновременно сумасшедшим и не сумасшедшим, — что-то в этом роде. Септимус Смит? Удачное имя? Хочу быть ближе к факту, чем в «Джейкобе»; однако думаю, что «Джейкоб» был для меня необходимым шагом на пути к свободе. А теперь я должна использовать эту терпеливую страницу, чтобы выработать план работы.

Необходимо продолжать чтение для греческой главы. Через неделю надо закончить «Премьер-министра» — скажем, двадцать первого. Потом я должна подготовиться к статье об эссе для «Таймс»: скажем, двадцать третьего. Ею буду заниматься примерно до второго ноября. Надо сконцентрироваться на «Эссе»: немного Эхила, наверное, начну Циммерна и постараюсь побыстрее закончить Бентли, который на самом деле не очень годится для моей работы. По-моему, картина немного проясняется — хотя понятия не имею, как читать Эхила: быстро, если следовать желанию, но это, увы, иллюзия.*

* «Westminster Gazette» — газета «Вестминстер».

Что я думаю об успехе «Джейкоба»? Думаю, мы продадим пятьсот экземпляров; потом дело пойдет медленнее, и к июню будут проданы восемьсот экземпляров. Меня очень похвалят в некоторых изданиях за «красоту»; и покритикуют тс, кому хочется человеческих характеров. Единственная рецензия, которую я жду с волнением, — в «Supt.»: не то что она будет самой умной, но ее прочтает больше людей, а мне нестерпимо, когда видят, как меня выставляют на всеобщее посмешище. «W. G.»* будет враждебна; наверняка и «Нейши» тоже. Но я совершенно серьезно заявляю, никому не удастся испортить мне удовольствие и поколебать меня в моем решении продолжать начатое; что бы ни было, какое бы бурление ни происходило на поверхности, внутри у меня будет полный покой.

Вторник, 17 октября

Так как я должна дать представление о моем успехе, то стараюсь покороче: во-первых, письмо от Десмонда, который, как он говорит, прочитал половину: «Вы еще никогда не писали так хорошо... Я потрясен и восхищен» — или что-то в этом роде; во-вторых, позвонил взволнованный Банны*, сказал, что это великолепно, мое лучшее, очень живо и значительно: берет тридцать шесть экземпляров и говорит, что покупатели уже «требуют». Это не подтверждено книжными магазинами, в которых побывал Ральф. Я продала сегодня меньше пятидесяти экземпляров, но еще остаются библиотеки и «Симпкин — Маршалл».

Воскресенье, 29 октября

После ухода мисс Мэри Баттс мои мозги не способны воспринимать прочитанное, так что лучше я что-нибудь напишу для собственного удовольствия. На самом деле я слишком озадачена разговором и смущена озабоченностью людей, которым нравится «Комната Джейкоба» и которым не нравится «Комната Джейкоба», поэтому не могу сконцентрироваться. В четверг была рецензия в «Таймс» — длинная, немного прохладная, как мне показаться, — в ней говорилось, *

* Дэвид Гарнетт.

что нельзя так подавать характеры, как это делаю я; довольно лестная. Конечно же, получила письмо от Моргана прямо противоположного содержания, и оно понравилось мне больше всего остального. Мы продали, кажется, шестьсот пятьдесят экземпляров и заказали второе издание. Мои чувства? Как всегда — смешанные. Я никогда не напишу книгу, которая понравится всем. На сей раз критика против меня, а близкие полны восторга. То ли я великая писательница, то ли бумагемарательница, «стареющая сенсуалистка*», как назвала меня «Дейли Ньюс». «ГТэлл мелл» проигнорировала меня. Ноя ожидала, что меня будут игнорировать и надо мной будут насмехаться. Какая судьба ждет вторую тысячу экземпляров? Пока успех ^ббольшой, чем я ожидала. Думаю, и довольна я сильнее, чем когда бы то ни было. Морган, Литтон, Банни, Вайолет, Логан**, Филип*** писали мне с восторгом. Но мне хочется вырваться из всего этого. Я словно все еще дышу духами Мэри Баттс. Не хочу собирать комплименты и сравнивать рецензии. Хочу размышлять о «Миссис Дэллоуэй», хочу продумать эту книгу лучше, чем прежние, и выжать из нее все возможное. Наверное, я могла бы покрепче завинтить «Джейкоба», пиши я сегодня; надо идти дальше.

* Сенсуализм — философское направление, признающее ощущения, восприятия единственным источником познания (*Прим, переводчика*).

** Логан Пирсолл Смит.

*** Филип Моррелл.

Понедельник, 4 июня

В повседневности я слишком неживчива, отчасти потому, что самоутверждаюсь. Неожиданно меня очень увлекла моя книга. Я хочу показать презренность таких людей, как Отт*. Я хочу показать беспринципность души. Мне часто случалось быть слишком терпимой. Правда в том, что люди безразличны друг к другу. У них нерассуждающий жизненный инстинкт. Но они никогда не привязываются ни к чему вне себя. Пафф** сказал, что любит свою семью и ему не надо самоутверждаться. Ему не нравится холодная непристойность. И лорду Дэвиду тоже. Вероятно, эта фраза из их набора. Пафф сказал — не могу передать точно. Я гуляла с ним по огороду, и мы прошли мимо сидевшего на траве и флиртующего Литгона; потом я шла вокруг поля с Сэквиль-Вестом, который сказал, что он лучше, и роман, который он пишет, лучше, и вокруг озера — с Менассией (?), египетским евреем, который сказал, что любит свою семью, что они все сошли с ума и разговаривают, как в книгах; и еще он сказал, что они цитируют мою прозу (оксфордская молодежь) и хотят, чтобы я приехала и выступила у них; еще там была миссис Асквит. На меня она произвела большое впечатление. Белая, как камень; карие с поволокой глаза старого сокола; в них больше глубины и любопытства, чем я ожидала; личность, дружелюбна, непринужденна и решительна. О, если бы у нас были стихи Шелли; но без Шелли-человека! Так она сказала. Шелли был совершенно невыносим, заявила она; она — холодная суровая пуританка; несмотря на то, что швыряет тысячи на платья. Если

*Леди Отталин Моррелл. Далее следует описание уикенда в Гарсингтоне, где жили она и Филипп Моррелл (*Прим, переврѳчика*).

** Энтони Асквит (*Прим, переврѳчика*).

угодно, она несется по жизни вскачь; подбирает одно-другое, что я хотела бы подучить и никогда не получу. Она увела Литгона, схватила его под руку и поспешила прочь — она думала, ее преследует «народ»; но она очень любезна с «народом», когда требуется; сидела на подоконнике и разговаривала с одетой в черное поношенное платье вышивальщицей, к которой добра Отт. Это один из ее кошмаров — она всегда добра, чтобы ночью сказать себе: Оттодин для того приглашает на свой прием бедную вышивальщицу, чтобы завершить свой портрет. Насмешки такого рода несут с собой физический дискомфорт. Мне она сказала, что я выгляжу на удивление хорошо, и мне это не понравилось. Почему? Не знаю. Наверное, потому что у меня немного болела голова. А ведь быть здоровой и пользоваться своей силой, чтобы получать от жизни сполна, наверное, самое большое удовольствие на свете. Что мне не нравится, так это ощущение, будто я всегда о ком-то забочусь или кто-то заботится обо мне. Неважно — работа, работа. Литгон говорит, что у нас впереди еще лет двадцать. Миссис Асквит сказада, что любит Скотта.

Среда, 13 июня

Там была леди Коулфакс в шляпе с зелеными лентами. Я уже писала, что завтракала с ней на прошлой неделе? Это было в день дерби*, лил дождь, стояли коричневые сумерки и холод, а она все говорила и говорила, и фразы летели с ее губ, как стружка из-под рубанка, одним длинным завитком. Встреча получилась неудачной: Клайв, Литтон и я. Клайв вернулся; недавно он обедает здесь с Лео Майерсом; а потом я отправилась на Голдерс-Грин, мы обедали с Мэри Шипшэнкс в ее салу и бесконечно толкли воду в ступе, что я делаю с радостью, дабы время не проходило даром. Свежий ветерок легко касался широкой изгороди, разделяющей сады. Почему-то меня охватили необычные чувства. Уже не помню, какие. Теперь мне часто приходится контролировать свое волнение — словно я бьюсь в стекло; или что-то судорожно бьется рядом со мной. Не знаю, к чему бы это. Мною завладевает поэзия жизни. Часто это связано с морем и Сент-Ивзом**. Приближаюсь к сорока шести, а все еще волнуюсь. От зрелища двух

* День ежегодных скачек в Эпсоме (близ Лондона).

** Место летнего отдыха в детские годы В.Вулф (Прим, переводчика).

гробов в камере хранения подземки, должна сказать, все мои чувства как будто скукожились. У меня есть ощущение полета времени; и это служит подпоркой моим чувствам.

Вторник, 19 июня

Я берусь за тетрадь с мыслью, что могу сказать кое-что о моей прозе, — к этому меня подтолкнула статья К. М. о том, как она писала «Гнездо голубки». Но я лишь просмотрела ее. Она много наговорила о том, что нужно глубоко чувствовать; о том, что нужно быть чистой, но это я критиковать не хочу, хотя, конечно, могла бы. А что чувствую я по поводу моей работы? — по поводу новой книги, то есть «Часов»*, если заглавие останется тем же? Достоевский тоже говорил, что нужно глубоко чувствовать, когда пишешь. А я? Неужели я играю словами, которые люблю от всей души? Нет, не думаю. В этой книге у меня даже слишком много мыслей. Я хочу показать жизнь и смерть, здравомыслие и безумие; я хочу критически показать социальную систему, как она работает, к тому же в напряженный момент. Возможно, тут я встаю в позу. Сегодня утром Ка** сказала, что ей не нравится «В саду». И я тотчас почувствовала себя обновленной. Я становлюсь анонимом, человеком, который пишет из любви к писательству. Она убрала мотив похвалы и позволила мне почувствовать, что и без всякой похвалы я буду с удовольствием шагать дальше. То же самое недавно вечером Дункан сказал о своей живописи. У меня такое чувство, словно я выскользнула из бального платья и стою голая — насколько мне помнится, это было очень приятно. Однако продолжаю. Пишу ли я «Часы» из глубокого чувства? Конечно же, безумная часть терзает меня очень сильно, заставляет мой мозг так напрягаться, что я едва понимаю, как смогу прожить еще несколько недель. Но это вопрос, касающийся персонажей. Люди, подобные Арнольду Беннетту, говорят, что я не могу создать и не создала в «Комнате Джейкоба» характеры, которые будут жить долго. У меня есть ответ — но оставим это на совести «Нейшн»: речь идет о старом утверждении, будто бы характер разорван на лос-

* В дальнейшем заглавие было изменено на «Миссис Дэллоуэй» (Прим, переводника).

** Миссис Арнольд Форстер (Прим, переводчика).

куты; это старый аргумент, возникший после Достоевского. Полагаю, однако, что у меня действительно нет «натуралистического» таланта. Я иллюзионирую, и до какой-то степени умышленно, не доверяя реальности — она обесценена. Пойдем дальше. В состоянии ли я воссоздать истинную реальность? Или я пишу эссе о самой себе? Отвечаю на эти вопросы как могу, в некомплементарном духе, и все же волнение остается. Если совсем честно, то теперь, когда я опять пишу художественную прозу, я горю внутри ярким пламенем. Если быть критичной, то я чувствую, что пишу односторонне, используя лишь мозг. У меня есть оправдание; ибо свободное использование своих возможностей означает счастье. Мое общество лучше, оно человечнее. Тем не менее, полагаю, в новой книге очень важно дойти до сердцевины. Впрочем, персонажи сами не желают мириться с украшательством в языке. Нет, я не прибиваю свой герб на Марри, которые работают в моей шкуре, но в манере исполняющего джигу насекомого. Досадно, в самом деле, унижительно так мучиться. И все же, вспомним восемнадцатое столетие. Но тогда все были открыты, а не закрыты, как теперь.

Я предвижу, возвращаясь к «Часам», что мне предстоит дьявольская борьба. План получился странный и властный. Мне все время приходится одергивать себя, чтобы соответствовать ему. Но он действительно оригинальный и очень меня интересует. Мне бы хотелось писать и писать, очень быстро и неистово. Не надо говорить, что я не могу. Иначе через три недели, если считать с сегодняшнего дня, я буду полностью опустошена.

Пятница, 17 августа

Вопрос, о котором я хочу поразмышлять здесь, — это вопрос моих эссе: как сделать из них книгу. Меня только что посетила великолепная идея представить их в духе беседы Отвея. Главное преимущество — я смогу откомментировать и добавить то, что мне пришлось выкинуть или я не смогла вставить; например, эссе о Джордж Элиот, несомненно, нуждается в эпилоге. Найти для каждого оправу и будет означать «сделать книгу», потому что сборник статей, на мой взгляд, не подразумевает художественного метода. Но может получиться и слишком художественно; тогда идея захватит меня и отнимет много времени. Тем не менее, почему бы не доставить себе удовольствие? Я поярче вы-

явлю собственную индивидуальность. Умерю напыщенность и погрузусь во всякую чепуху. Полагаю, что буду чувствовать себя куда свободнее. Но думаю, надо сделать прикидку. Для начала стоит подготовить некоторое количество эссе. И еще должно быть введение. Семья, которая читает газеты. Каждому эссе надо будет придать свою особую атмосферу. Когда это станет походить на течение самой жизни, наступит время формировать книгу; выделять главную линию — но какая это будет линия, я узнаю, лишь вновь перечитав эссе. Несомненно, художественная литература — главная тема. В любом случае эта книга покончит с современной литературой.

6 Джейн Остин	В хронологическом порядке
5 Аддисон	
14 Конрад	Монтень
15 Влияние	Эвелин
на современника	Дефо
11 Русские	Шеридан
4 Эвелин	Стерн
7 Джордж Элиот	Аддисон
13 Современные эссе	Джейн Остин
10 Генри Джеймс	Шарлотта Бронте
Перечитываемые романы	Джордж Элиот
8 Шарлотта Бронте	Русские
2 Дефо	Американцы
12 Современные романы	Торо
Греки	Эмерсон
9 Торо	Генри Джеймс
3 Шеридан?	Современная литература
2 Стерн?	Перечитываемые романы
1 а. Старые мемуары	Эссе
	Влияние на современника

Примерно так.

Среда, 29 августа

Я все время сражалась с «Часами»; кажется, это самая мучительная и непокорная из моих книг. Есть очень плохие куски, а есть — очень хорошие; мне пока интересно; не могу остановиться — пока. В чем дело? Я хочу освежить себя, а не умерт-

вить, поэтому больше и ничего не скажу. Отмечу только странный симптом; я убеждена, что буду продолжать, доведу книгу до конца, потому что мне интересно ее писать.

Четверг, 30 августа

Меня позвали, полагаю, рубить деревья; нам нужны дрова, потому что все вечера мы сидим в доме. Господи, какой ветер! Вчера вечером смотрели на раскачивавшиеся на лугу деревья, и так много падало листьев, что кажется, порыв ветра — и все, конец. Сегодня утром, однако, листья падают только с липы. В полночную бурю я читала бело-канифасовую, рисово-пудинговую главу из, вроде бы, «Жен и дочерей» миссис Гаскелл: все равно это лучше, чем рассказ старух. Видите ли, я неистово размышляю о Чтении и Писании. У меня нет времени рассказывать о своих планах. Надо написать много важного о «Часах» и о моем открытии: как я раскапываю великолепные пещеры в моих персонажах: думаю, это будет как раз то, чего я хочу; человечность, юмор, глубина. Идея заключается в соединении пещер, из которых каждая будет открыта в свое время. Обед!

Среда, 5 сентября

Я слегка обескуражена приемом моей статьи о Конраде, который был полностью отрицательным. Никто даже не упомянул о ней. Не думаю, что она понравилась М. или Б. Неважно; нет ничего более бодрящего для меня, чем быть обескураженной. Надо принимать холодный душ (и я его обычно принимаю) перед тем, как начинаешь новую книгу. Он придает сил; и тогда говоришь: «О, все в порядке. Я пишу, чтобы доставить себе удовольствие». И берешься за дело. В этом есть еще то преимущество, что мой стиль становится более уверенным и откровенным, значит, все к добру. Как бы то ни было, я в пятый раз, но клянусь, в последний, начинаю то, что сейчас называется «Обыкновенный читатель»; и сегодня утром довольно посредственно написала первую страницу. Удивительно, как после всех волнений, едва я начала писать, новый аспект, который не приходил мне в голову последние два-три года, мгновенно показался неопровержимым; и придал материалу новые пропорции. Короче говоря, я и вправду буду исследовать литературу, чтобы ответить на некоторые вопросы о нас самих. Ведь персонажи всего лишь

наши взгляды; о личностях же ни слова ни при каких обстоятельствах. Уверена, меня научило этому мое приключение с Конрадом. Прямо можно указывать на цвет волос, возраст и так далее, что-нибудь легкое или неопределенное тоже годится для книги. Обед!

Понедельник, 15 октября

Сейчас я вся в сцене безумия в Риджентс-парк и нахожу, что пишу ее так близко к реальности, как только могу, примерно пятьдесят слов за утро. Потом надо будет это переписать. Думаю, план гораздо лучше, чем в других моих книгах. Но боюсь, не сумею довести его до конца. У меня множество идей. И еще у меня такое чувство, будто я смогу использовать все, о чем когда-либо думала. Конечно, я гораздо свободнее, чем прежде. Сомнения вызывает лишь, как мне кажется, характер миссис Дэллоуэй. Он может показаться слишком жестким, слишком блестящим и показным. Но ведь в моей власти включить бесчисленное множество других характеров, чтобы поддержать ее. Сегодня написала сотую страницу. Естественно, пока я лишь нащупывала мой путь — до прошлого августа, во всяком случае. Мне понадобился год для понимания того, что я называю своим тоннельным процессом, когда я понемногу, по мере необходимости рассказываю о прошлом. Пока это мое главное открытие; и тот факт, что я потратила на него так много времени, доказывает, я полагаю, насколько фальшива доктрина Перси Лаббока — будто такие вещи можно делать сознательно. Чувствуешь себя несчастной — это правда, что как-то вечером я решила отказаться от книги, — а потом открывается потайной родник. Господи, спаси меня! Я не перечитывала мое великое открытие, и, возможно, в нем нет ничего особенного. Неважно. Признаюсь, у меня большие надежды на эту книгу. И я буду ее писать, пока, честное слово, ручка не выпадет у меня из пальцев. Журналистике и всему остальному придется уступить ей дорогу.

Понедельник, 26 мая

Лондон меня чарует. Я как будто ступаю на рыже-коричневый волшебный ковер и, не пошевелив пальцем, уношусь в прекрасный мир. Здесь удивительные вечера — белые галереи, широкие тихие удины. Люди внезапно появляются и исчезают, мило и забавно, как кролики; я смотрю на Саутгемптон-Роу, мокрую, как обратная сторона марки, и желто-красную в лучах заходящего солнца, наблюдаю за проезжающими мимо omnibusами и слышу старые, сумасшедшие разговоры. На днях я напишу о Лондоне, который, не прилагая усилий, подхватывает человека и несет с собой. Мелькающие лица будоражат мои мысли; не дают им покоя, в отличие от Родмелла с его тишиной.

В голове у меня одни лишь «Часы». Сейчас я говорю, что на все про все мне надо четыре месяца, июнь, июль, август и сентябрь, потом на три месяца отложу написанное и закончу свои эссе; это будет в октябре, ноябре, декабре — до января; в январе, феврале, марте, апреле буду исправлять роман; в апреле выйдут мои эссе, а в мае — роман. Такова программа. Мозги крутятся быстро и легко после августовского кризиса, который, я считаю, стал началом, а потом все пошло и пошло, правда, с перерывами. То, что я пишу теперь, более аналитичное и общечеловеческое, полагаю; менее лиричное; у меня такое ощущение, будто я порвала узду и готова все впитать в себя. Если так — хорошо. Еще надо будет его перечитать. На этот раз моя цель 80 000 слов. И я люблю Лондон за то, что пишу роман, отчасти благодаря тому, как я уже сказала, что здесь сама жизнь поощряет человека; а с моим умом, похожим на беличье колесо, великое дело — вовремя остановить бег по кругу. К тому же для меня большая радость без церемоний, накоротке встре-

чаться с людьми. Я могу забегать и убегать и освежать застоявшиеся мозги.

Суббота, 2 августа

Мы в Родмелле, и у меня есть двадцать минут до обеда. Уныние одолевает меня, словно мы состарились и приблизились к концу. Наверняка это связано с отъездом из Лондона и непрерывной занятостью. К тому же в книге сейчас трудный момент — смерть Септимуса, — и я начинаю думать, что меня постигла неудача. Однако издательство работает, грустить нет никаких оснований; в случае нужды есть на что опереться. Итак, если я не смогу писать сама, то в состоянии заставить писать других людей; открою свое дело. В Родмелле как в монастыре. Душа стремится ввысь. Ненадолго приезжал Джулиан*, высокий молодой человек, абсолютно убежденный, не менее меня самой, в моей молодости, словно он мой младший брат; как бы то ни было, мы много болтали и не чувствовали ни малейшей скованности. Все остается по-прежнему — его школа в точности как школа Тоби. Он рассказывал мне о мальчиках и учителях, как когда-то делал Тоби. И меня это по-прежнему интересует. Он восприимчивый, очень сообразительный, довольно озорной мальчик; помешанный на Уэллсе, открытиях и будущем мира. К тому же мы с ним одной крови и легко понимаем друг друга. Полагаю, он вырастет очень высоким и станет адвокатом. Все-таки, несмотря на бурчание, с которого я начала, если честно, то я не чувствую себя старой; лишь бы мне удалось направить мою энергию на писание. Если бы на **МЕНЯ** снизошло вдохновение, если бы я могла работать тщательно, глубоко, легко, а не вымучивать двести слов в день. Да и по мере того, как рукопись толстеет, меня одолевает обычный страх. Неужели я прочитаю ее и она покажется мне бледной? И подтвердятся слова Марри о том, что после «Комнаты Джейкоба» нельзя продолжать в том же духе? Нет, если новая книга что-то и доказывает, то лишь одно — я могу писать только так и никогда от этого не откажусь, наоборот, буду идти и идти вперед, не наскучив, слава Богу, ни на мгновение тем, что делаю. Но мое уныние — почему? Полагаю, я могла бы излечиться от него, если бы оказалась по дру-

* Джулиан Белл, сын Ванессы.

гую сторону Ла-Манша и неделю ничего не делала. Мне хочется посмотреть на что-то, что работает без моего участия: например, на французский торговый город. В самом деле, будь у меня силы, я бы отправилась в Дьепп; или в качестве компромисса покаталась бы по Сассексу на автобусе. Август должен быть жарким. На нас обрушиваются потопаы. Сегодня прятались в стогу сена. Ох уж эта нежная и сложная душа — я барабанила по ней и слушала, дышит — не дышит. Переезд из дома в дом выбивает меня из колеи на несколько дней. Но это жизнь; это полезно. Никогда не нервничать — удел мистера Аллинсона, миссис Хоксфорд и Джека Сквайра. За два-три дня я акклиматизируюсь, начну читать и писать, и не будет никакого уныния. Если бы нам не приходилось рисковать, хватать за бороду дикого козла и глядеть с дрожью в пропасть, наверняка мы не впадали бы в уныние; но полиняли бы, присмирели и состарились.

Воскресенье, 3 августа

Теперь работа. Я уже немного пришла в себя, взявшись за книги: первым делом двести пятьдесят слов прозы, потом постоянные наброски, полагаю, уже в восьмидесятый раз для «Обыкновенного читателя», которого я могла бы сработать одним махом, если бы знала, как это сделать. С ним много мороки. Например, мне пришло в голову, что надо прочитать «Путь паломника»*: миссис Хатчинсон. Выбросить Ричардсона, которого я не читала? Увы, придется бежать, несмотря на дождь, в дом и смотреть, есть ли там «Кларисса»** . Сколько времени уйдет, да и роман длинный-предлинный. Потом надо почитать «Медю»***. И немного Платона в переводе.

Пятница, 15 августа

Все мои планы нарушены смертью Конрада и телеграммой из «Lit. Sup.» с настойчивой просьбой написать о нем статью для первой страницы, что, польщенная и послушная, я неохотно делала; статья пошла; и этот номер «Lit. Sup.» испорчен для меня (ибо я не могу и никогда не смогу читать написанное мной са-

* Джон Беньян «Путь паломника» (1678).

** Роман Сэмюэла Ричардсона.

*** Трагедия «Еврипида».

мой. Более того, коротышка Уолкли вновь вышел на тропу войны, и в следующую среду я жду укуса). Все же я никогда не работала так много. Пришлось за пять дней написать статью, да еще я мудрила с романом после чая — и нашла, что нет никакой разницы, когда это делать, после чая или утром. Может быть, у меня появятся два лишних часа на критику (как называет мои эссе Логан)? Попытаюсь — проза до ланча и эссе после чая. Мне уже ясно, что в октябре я «Миссис Дэллоуэй» не закончу. В моих предварительных планах никогда не находится места для важных промежуточных сцен: думаю, теперь идти прямо к большому приему и к концу, забыв о Септимусе, который требует непомерного напряжения и предельной осторожности, и перепрыгнув через обед Питера Уолша*, который тоже может стать препятствием. Мне доставляет удовольствие переходить из одной освещенной комнаты в другую, так уж устроены у меня мозги; освещенные комнаты; прогулки по полям — мои коридоры; но сегодня я думаю лежа. Кстати, почему поэзия по вкусу только пожилым людям? Когда мне было двадцать, что бы ни говорил Тоби, который был очень настойчив и строг, я бы ни за что не стала читать Шекспира ради удовольствия; а теперь мне приятно думать о том, что вечером я буду читать два акта «Короля Джона», а потом еще «Ричарда II». Теперь мне хочется читать поэмы — длинные поэмы. В самом деле, я подумываю о том, чтобы почитать «Времена года»**. Мне хочется концентрированного текста и любовной истории, и чтобы слова были как будто склеены, сплавлены и жарко пылали; у меня больше нет лишнего времени, чтобы тратить его на прозу. Все же это, наверное, совсем не то, что говорят другие. Когда мне было двадцать, я любила прозу восемнадцатого века; мне нравились Хэклит, Мериме, я читала Карлейля, жизнеописание и письма Скотта, Гиббона, всякие двухтомные биографии и Шелли. А теперь хочу поэзии и каюсь, как подвыпивший матрос перед пивной... Нечасто я даю себе 'груд описывать поля и работающих на них женщин в свободных сине-красных одеждах и маленьких девочек в желтых платьицах, с широко открытыми глазами. Дело не в том, что я разучилась смотреть; на днях, возвращаясь из Чарльстона, я опять почувствовала, как

* Септимусе и Питер Уолш — персонажи романа «Миссис Дэллоуэй».

** Поэма Д.Томсона.

у меня напряглись, полыхнули огнем нервы, словно наэлектризованные (можно так?) из-за представшей передо мной совершенной красоты — красоты поразительной и сверхизобильной. Она даже могла бы вызвать негодование, ибо человек не в состоянии одновременно объять ее всю. Жизненная дорога может стать в высшей степени интересной, если постоянно стараться понимать происходящее кругом. Мне кажется, будто я осторожно прикасаюсь пальцами (пришел Леонард и приказал мне придумать предлог, чтобы завтра отвезти Дэди* в Тилтон**) к обеим сторонам заваленного всяким хламом тоннеля. Я больше не рассказываю о встречах со стадами коров — хотя это было бы необходимо несколько лет назад, — как они сгрудились и мычали, словно кавалеры, вокруг Гриззл; и как я, оказавшись в безвыходном положении, махала палкой и думала о Гомере, когда они с ревом и топотом приближались ко мне; какое-то подобие сражения. Гриззл же, становясь все более и более смелой и возбужденной, выстреливала в ответ лаем. Аякс? Мне припомнился этот грек, несмотря на все мое невежество.

Воскресенье, 7 сентября

Мне стыдно, что я ничего не пишу, а если пишу, то пишу небрежно, с большим количеством причастий. Они показались мне очень полезными, когда я в последний раз полировала «Миссис Д.». Наконец-то добралась до приема, который должен начаться в кухне и постепенно переползти наверх. Это будет чрезвычайно сложный, живой, цельный кусок, на котором сойдется все и который закончится тремя замечаниями, произнесенными на разных ступеньках лестницы, и в каждом будет что-нибудь важное о Клариссе. Кто их произнесет? Питер, Ричард и, наверное, Садли Ситон, однако я не хочу связывать себя заранее. Сейчас мне вправду кажется, что это может стать лучшей из написанных мной концовок и финалов. Но еще нужно перечитать первые главы и в какой-то мере исповедоваться в страхе перед безумием; и быть умной. Я уверена, что теперь у меня все пойдет без сучка без задоринки, хотя бы потому, что пока метафоры льются легко. Если бы удалось перенести все

* Г.У.Райлэндс.

** Дом неподалеку от Фирла, который снимал Д.М.Кейнс.

преимущества наброска в большую и сложную работу! К этому я стремлюсь. Как бы то ни было, никто не может мне помочь и никто не может помешать. На меня пролился дождь комплиментов из «Таймс», Ричмонд даже растрогал меня, сказав, что от всей души дает дорогу моему роману. Мне бы хотелось, чтобы он прочитал то, что я пишу, но подозреваю, он ничего не читал.

Я воспарила так высоко, как никогда прежде, и дум ап а, что закончу к четвергу; Лотти сказана Карин, будто мы хотим оставить Энн; Карин интерпретировала мой вежливый отказ посвоему и явилась в субботу, сметая все на своем пути. Я все более и более уединяюсь; боль от таких переворотов безмерна; и я ничего не могу объяснить... Вся неделя испорчена — а какой спокойной и безмятежной, словно лапландская ночь, была предыдущая неделя, проведенная вдвоем, — я чувствую, что должна пойти к ним и быть хорошей тетужкой — какой не рождена на свет; нужно спросить Дейзи, чего она хочет; я заполняю свое время наведением порядка, когда все мои мысли о завтрашней работе, то есть о приеме миссис Дэллоуэй. Единственный выход — остаться в одиночестве до четверга и попытаться счастья. Может сказаться и неважный вечер (опять К. виновата). Зато я живу полной жизнью в своем воображении; в совершенной зависимости от наплывов мыслей, поглощающих меня, когда я гуляю или просто сижу; мысли пенятся у меня в голове, составляя бесконечный поток, который и есть мое счастье. В нем нет места ничего не значащим людям. Надоели мне эти стены; отчасти потому, что я ничего не вижу и у меня дрожат руки, после того как я притащила саквояж из Льюиса, где сидела на увенчанной замком вершине холма, когда старик мел там листья; он посоветовал мне, как вылечить люмбаго: надо обвязаться шелковым шарфом; шелк стоит три пенса. Я видела британские челноки и самый старый в Сассексе плуг, в 1750 году найденный в Родмелле, и доспехи, какие, говорят, были на воинах в битве при Серингапатаме*. Обо всем этом мне, кажется, хотелось бы написать. И конечно же, дети прелестны и очаровательны. С Энн я говорила о белом тюлене, и она попросила меня почтить ей. Не представляю, как Карин умудряется быть настолько

* Битва при Серингапатаме — битва (5.2.1792) в ходе Третьей Англо-Майсурской войны (1790—1792).

равнодушной. У них в головках есть нечто, приводящее меня в восторг; для меня было бы большим удовольствием проводить с ними наедине день за днем. У них есть то, чего нет у взрослых людей, — прямота. Эни болтает, болтает, болтает, словно она в каком-то собственном мире, со своими тюленями и собаками; счастливая, потому что вечером будет пить какао, а завтра пойдет за ежевикой. Стены ее разума украшены сверкающими яркими вещами, и она не видит того, что видим мы.

Пятница, 17 октября

Стыдно. Я побежала наверх, думая, что мне хватит времени сделать потрясающую запись — последние слова последней страницы «Миссис Дэллоуэй», — но меня перехватили. Как бы то ни было, я написала их неделю назад. «И он увидел ее»*. Я была счастлива освободиться от этого романа, ибо он держал меня в напряжении последние несколько недель, но голова у меня была посвежее; не такая, как обычно, когда я скольжу и едва удерживаюсь на натянутой веревке. И я гораздо свободнее от написанного, чем обычно, — сомневаюсь, что так будет, когда я возьмусь за перечитывание. Но в каком-то смысле эта книга — мой подвиг; я написала ее в том виде, в каком она сейчас, всего за один год, то есть с конца марта до восьмого октября, не прерываясь на болезнь, что было исключением из правила, и отложив ее лишь на несколько дней, когда мне пришлось заняться журналистикой. Итак, она наверняка отличается от других моих книг. В любом случае я чувствую, что избавилась от заклятья, которое, как говорили Марри и другие, я наложила на себя после «Комнаты Джейкоба». Единственная трудность — удержаться от писания других романов. Мой *cul de sac*** , как они это называют, очень длинный, и из него открываются необозримые просторы. Я уже вижу Старика.

Мне пришло в голову, что в этой тетради я практикуюсь в стиле; разрабатываю собственные масштабы; придумываю свои ходы. Признаюсь, здесь я практиковалась в стиле «Джейкоба» и в стиле «Миссис Д.» и буду примериваться к стилю следующей книги; потому что здесь я пишу, но как будто мысленно, — и это

* Перевод Е.Суриц.

** Тупик (фр.).

доставляет мне большое удовольствие, да и старушка В. в 1940 году тоже найдет тут что-нибудь **ДЛЯ** себя. Она все найдет, старушка В., — наверняка больше, чем нахожу я. Однако я устала.

Суббота, 1 ноября

Мне необходимо кое-что записать о моей работе; ибо пора приниматься за дело. Вопрос в том, как работать сразу над двумя книгами. Я собираюсь быстренько пройтись по «Миссис Д.», но все равно это займет некоторое время. Нет: пока сказать нечего, потому что на следующей неделе буду заниматься экспериментированием; сколько потребуется внести изменений и сколько это займет времени. Но прежде я очень хочу закончить с эссе. Вчера пила чай в комнате Мэри и видела, как проплывают мимо красные огни буксиров, слышала шипение реки; Мэри в черном платье с листьями лотоса на шее. Умение дружить с женщинами, наверно, доставляет большое удовольствие — тайные, скрытые ото всех отношения сравнимы с отношениями с мужчинами. Почему бы не написать об этом? Но написать честно. Я думаю, записи в дневнике очень помогают мне вырабатывать мой стиль; ослабляют связи.

Вторник, 18 ноября

Я хочу сказать, что, по моему мнению, проза должна иметь четкую форму. Искусство надо уважать. Это пришло мне в голову, когда я прочитала здесь кое-какие из своих замечаний, ведь если позволить мыслям полную свободу, то получится эгоцентрическая проза, личная, к которой я питаю отвращение. В то же время огонь не должен быть ровным; и, наверно, для его высвобождения надо начинать с хаоса, вот только появляться в таком виде перед публикой нельзя. Сейчас я держу путь через сумасшедшие главы «Миссис Д.». Интересно, выиграла бы книга, если бы их не было? Однако это запоздалые мысли, и они появились в результате размышлений о том, как надо было писать роман. Всегда так; стоит закончить работу, и сразу понимаешь, как ее надо было делать.

Суббота, 13 декабря

Галопом одолеваю «Миссис Д.», перепечатаваю ее с самого начала, как я более или менее делала с «Путешествием»: хоро-

ший метод, мне кажется, пройтись по всему, что есть, мокрой тряпкой и соединить в единое целое написанные независимо друг от друга и получившиеся сухими части. Если честно и откровенно, то, думаю, это самый удачный из моих романов (но я еще не читала его на холодную голову). Критики скажут, что он отрывочный, потому что сцены безумия не связаны со сценами, в которых появляется миссис Дэллоуэй. А я полагаю, здесь есть в высшей степени замечательная проза. В ней отсутствует «реальность»? Это всего лишь внешний лоск? Не думаю. И, как я, полагаю, уже говорила прежде, эта проза помогла мне глубже забраться в самые богатые пласты моего мозга. Теперь я могу писать, и писать, и писать: самое счастливое чувство, какое только может быть на этом свете.

Понедельник, 21 декабря

Мне, правда, стыдно — слишком уж много пустых страниц в этой тетради. Лондон определенно не лучшим образом влияет на состояние дневников. Этот, подумать только, самый тошнотливый из всех, и я сомневаюсь, стоит ли брать его в Родмелл, но если и возьму, то вряд ли сумею много написать в нем. В самом деле, год был богат на события, как я и предполагала; и мечтательница из третьего января почти все намечтала правильно; теперь мы в Лондоне с одной лишь Нелли, Дэди в самом деле уехал, но приехал Энгус. Я сделала вывод, что переезд из дома в дом не такой уж катаклизм, как мне поначалу казалось; в конце концов, меняешь ведь не тело и не мозги. Я все еще погружена в «мою прозу», спешу изо всех сил, перепечатаваю «Миссис Д.» для Л., чтобы он прочитал в Родмелле; потом помчусь наносить последние удары по «Простому читателю», а потом — потом буду свободна. Наконец-то буду свободна и смогу написать еще один-два рассказа, которые сложились у меня в голове. Я все меньше и меньше уверена в том, что это рассказы, но не знаю, как их назвать. Однако мне ясно, что я максимально приблизилась к тому, чего добивалась, к тому же подобрала приемлемую форму. Думаю, у меня все меньше потерь. Однако взлеты чередуются с падениями.

Среда, 6 января

В Родмелле сплошное ненастье и потоп; именно так. Река разлилась. Семь дней из десяти шел дождь. Частенько не было возможности погулять. Л. обрезал деревья, что требовало героических усилий. А мой героизм был исключительно литературным. Я редактировала «Миссис Д.», то есть выполняла самую рассудочную часть работы и самую унылую — изнурительную. Хуже всего начало (как всегда), когда на протяжении нескольких страниц все внимание уделено аэроплану; они получились жидковатыми. Л. прочитал и думает, что это лучшее из написанного мной, — но ведь он и должен так думать. Все же я соглашаюсь. Он считает, что непрерывность удалась мне здесь лучше, чем в «Комнате Джейкоба», но все же читать трудно, если учесть отсутствие связи, видимой, между двумя темами. Как бы то ни было, рукопись отправлена Кларку, и на следующей неделе будет корректура. Это для Харкорта Брейса, который принял роман не читая и поднял ставку на 15%.

Вторник, Ванреля

Я под впечатлением, сложным, от возвращения домой с юга Франции — в просторную туманную мирную уединенность Лондона (так мне казалось вчера вечером), но которой как не бывало из-за несчастного случая, происшедшего на моих глазах утром — женщина кричала, еле слышно, ой, ой, ой, прижатая автомобилем к ограде. Весь день мне слышался ее голос. Я не побежала на помощь; к ней бросились все булочки и цветочницы. Не могу избавиться от страшного ощущения грубого и дикого мира — эта женщина в коричневом пальто шла по тротуару — и вдруг, как в кино, красная машина переворачивается, подминает ее под себя, и слышится ой, ой, ой. Я отправилась

посмотреть новый дом Нессы и на площади встретила Дункана*, но поскольку он ничего не видел, то и ни в малейшей степени не чувствовал того, что чувствовала я, и Несса не чувствовала, хотя попытаться сопоставить этот несчастный случай с тем, который весной произошел с Анжеликой. Я успокоила ее, сказав, что эта женщина нам не знакома; и мы отправились смотреть дом.

Со времени последней записи умер Жак Равера; страстно желая умереть; он прислал мне письмо о «Миссис Дэллоуэй», и это был один из самых счастливых дней в моей жизни. Неужели на этот раз мне в самом деле что-то удалось? Нет, ничего, конечно же, сравнимого с Прустом, которым **Я** теперь поглощена. У Пруста сочетание предельной чувствительности с предельной твердостью. Ему нужны все до последнего оттенка на крылышках бабочки. Он вечен, как кетгут, и мимолетен, как мимолетна жизнь бабочки. И он будет, полагаю, одновременно влиять на меня и выводить меня из себя каждой моей фразой. Жак умер, как я уже сказала; и сразу же чувства начали осаду. Весть дошла одновременно до меня, до Клайва, до Би Хау, до Джулии Стрэнчи, до Дэди. Однако я больше не расположена снимать шляпу перед смертью. Предпочитаю выйти из комнаты, продолжая беседовать, с незаконченной случайной фразой на губах. Такое это произвело на меня впечатление — никаких прощаний, никакой покорности, просто еще один человек ушел во мрак. Но для нее** это кошмар, ужасный кошмар. А я только и могу, что быть с ней естественной, но это, как мне кажется, очень важно. Вновь и вновь я повторяю свою версию Монтеня — «Значение имеет только жизнь».

Я жду, не зная, какую форму в конце концов примет у меня в голове Касси. Там скалы. Мы обычно отправлялись после завтрака посидеть на них и погреться на солнышке. Л. сидел без шляпы и что-то писал на колене. Однажды утром он нашел морского ежа — они красные и с подрагивающими щупальцами. Потом, днем, мы шли гулять по холмам и в лес, где однажды услышали шум мотора и обнаружили совсем рядом дорогу на Ла Сиота. Всюду камни, крутые тропинки; и очень жарко. Один раз мы слышали громкий говор птиц, и мне пришли на память

* Дункан Грант.

** Вероятно, имеется в виду вдова Жака Равера.

лягушки. На лугах растут неряшливые красные тюльпаны; а сами луга представляют собой небольшие угловатые выступы, круто обрывающиеся с одного края, разлинованные и укрепленные виноградом; то тут, то там побеги фруктовых деревьев в красных, розовых, багровых бутонах. Дома белые, желтые или голубые с резко очерченными углами и плотно закрытыми ставнями; вокруг них ровные тропинки и кое-где ряды левкоев; всюду поразительная чистота и завершенность. В Ла Сиота большие оранжевые корабли поднимаются из голубых вод маленькой бухты. Все бухты правильной круглой формы, окруженные оштукатуренными домами пастельных тонов, очень высокими, облупленными и подмазанными, со ставнями; возле одних горшки и пучки травы, возле других развешанное на веревках белье; кое-где сидят старухи и смотрят вдаль. На холме, каменном, как пустыня, сохнут сети; на улицах детишки и перешептывающиеся девицы в выгоревших ярких шалях и бумажных чулках, на площади мужчины копают землю, чтобы уложить камни. Отель «Золушка» — белый дом с красной плиткой на полу, способный вместить человек восемь. Кстати, атмосфера отеля подсказала мне много идей: холодная, безразличная и внешне любезная, порождающая весьма странные отношения; словно человеческая природа сведена до некоего кода, который она придумала на тот крайний случай, когда люди, не знакомые друг с другом, встречаются и предъявляют права как члены одного племени. Действительно, мы то и дело с кем-то соприкасаемся, но это не затрагивает нас глубоко. Л. и я были слишком счастливы, как говорится; если бы пришлось умереть, и т.д. Никто не скажет обо мне, что я не знала настоящего счастья, однако совсем немногие могут ткнуть пальцем в нужное мгновение или сказать, что именно сделало их счастливыми. Даже я сама, случайно пошевелившись в луже счастья, могла бы сказать лишь: это все, чего я хочу. Ничего лучшего мне не было нужно; и я не без суеверия поминала богов, которые должны, придумав счастье, завидовать ему. Однако это не похоже на то, как если бы оно свалилось неожиданно.

Воскресенье, 19 апреля

Мы уже пообедали; это наш первый летний вечер, и настроение писать покинуло меня, едва появилось и исчезло. Еще не на-

ступили мои священные полчаса. Но если подумать — пожалуй, стоит почитать что-нибудь из дневника, чем писать о том, как удачно я навела глянец на мистера Ринга Ларднера. Этим летом мне удастся заработать прозой триста фунтов и поставить в Родмелле ванну с горячей водой. Но тьфу-тьфу — книги еще только должны выйти и будущее у меня неопределенное. Что касается прогнозов — вероятно, «Миссис Дэллоуэй» будет иметь успех (Харкорт считает роман «замечательным»), и две тысячи экземпляров распродадутся быстро. Я этого не жду. Я жду медленного тихого роста славы, как получилось, удивительно, после выхода в свет «Комнаты Джейкоба». Мое положение журналистки упрочивается, хотя вряд ли продан даже один экземпляр*. Но я не очень нервничаю — немножко; и, как всегда, мне хочется закопаться поглубже в мои новые истории, но чтобы зеркало не отсвечивало мне в глаза — то есть Тодд, то есть Коулфакс и т.д.

Понедельник, 20 апреля

Одна вещь, если говорить о состоянии моего рассудка на сегодняшней день, как мне кажется, не подлежит обсуждению — я уже добралась до нефти, однако не могу писать достаточно быстро, чтобы всю ее вытащить на поверхность. У меня сейчас придуманы по крайней мере шесть историй, и я наконец чувствую, что могу переводить мысли в слова. Все же есть бесчисленные проблемы; хотя я никогда прежде не ощущала такого внутреннего напора и такого напряжения. Полагаю, я могу писать гораздо быстрее; если писание заключается в этом —■ выплескивание фразы на бумагу, потом печатание и перепечатывание — переделка; по-настоящему процесс писания сейчас похож на махание метлой, после чего я заполняю освободившееся пространство. Неужели я могла бы стать известной — не скажу великой, но известной — писательницей? Странно, но, несмотря на все мое тщеславие, до сих пор я не очень верила в свои романы и в то, что смогу выразить в них себя.

Понедельник, 27 апреля

«Обыкновенный читатель» вышел в четверг: сейчас понедельник, а я до сих пор не слышала и не читала о нем ни слова;

* Имеется в виду книга «Обыкновенный читатель».

похоже, как если бы я бросила камень в пруд и вода сошлась над ним, даже не покрывшись рябью. Но я совершенно спокойна и думаю об откликах меньше, чем когда бы то ни было. А пишу, чтобы напомнить себе, когда наступит следующий раз, о грандиозных триумфах моих книг. Я сидела в «Воге», то есть у Беков, в их клетках, которые мистер Вулнер строил как студии; наверное, там он думал о моей матери, ведь он хотел на ней жениться, как мне кажется.

Я имею в виду второе «я».

Сейчас я уверена, что у всех людей множественная структура сознания; и мне хотелось бы исследовать социальное сознание, модное сознание, и так далее. Мир моды у Беков — миссис Гарланд занимается показом — это, конечно же, целостный мир, в котором люди прячутся в конверт, объединяющий и защищающий их от других людей типа меня, то есть находящихся вне конверта, чужих. Эту множественную структуру трудно передать (я, понятно, на ощупь подыскиваю слова), но я все время к этому возвращаюсь. Социальное сознание, например: сознание Сибил. Его нельзя расколоть. Оно живое. Его надо сохранить целостным, как оно есть. И все же я до сих пор не совсем понимаю, что имею в виду. Кстати, я собиралась написать Грейвсу, прежде чем забуду о нем.

Пятница, 1 мая

Это, как говорится, справка на будущее. «Обыкновенный читатель» напечатан восемь дней назад, но пока еще не появилось ни одной рецензии, да и мне никто ничего не написал и не сказал, хотя бы признавая факт его появления на свет; кроме Мэйнарда, Лидии и Дункана. Клайв неожиданно оглох; у Мортимера грипп, и он не может написать о книге; Нэнси видела, как он читает, но умолчала о его мнении; все указывает на скучный, холодный, унылый прием; и полный провал. Я только что прошла сталию надежд и страхов и теперь вижу, как разочарование плывет, будто старая бутылка, в моем кильватере, но я готова к новым приключениям. Если такое же случится с «Дэллоуэй», не стоит удивляться. Надо написать Гвен.

Понедельник, 4 мая

Вот температурная кривая книги. Мы отправились в Кембридж, и Голди сказал, что считает меня лучшим из ныне живу-

щих критиков, а потом в своей резкой и неловкой манере спросил: «Кто пару месяцев назад написал замечательное эссе об елизаветинцах в "Lit. Sup."? Я показала пальцем на себя. Итак, теперь есть один насмешливый отклик об «Обыкновенном читателе» в «Сельской жизни», почти нечленораздельный от неумения выразить свои мысли, и еще один, как сказал Энгус, в «Стар», где издеваются над обложкой Нессы. Судя по началу, не исключено довольно много критических замечаний в том смысле, что я пишу невразумительно и туманно; возможен кое-какой энтузиазм; будет продано мало экземпляров, и моя репутация укрепитя. Ода, репутация укрепитя.

Суббота, 9 мая

Что до «Обыкновенного читателя», то в «Lit. Sup.» было почти две колонки рассудительных, разумных похвал — ни то ни сё — моя судьба в «Таймс». Голди пишет, что, по его мнению, «это лучшие критические сочинения в Англии — самые мудрые, остроумные и основательные». Мои критики или возносят меня до небес, или смешивают с грязью как посредственность — судьба. Но в «Lit. Sup.» мне не дожидаться энтузиаста. Тб же самое скоро будет с «Дэллоуэй».

Четверг, 14 мая

Я собиралась тщательно регистрировать температуру моих книг. «О. ч.» не продается; но его хвалят. С искренним удовольствием открыла сегодня утром «Манчестер Гардиан» и прочитала статью мистера Фоссета об Искусстве В. В.; ярко и честно, глубоко и остроумно. Вот если бы «Таймс» могла так говорить, а не бормотать и не бурчать, словно человек, набравший в рот камешков. Я уже упоминала, что там были почти две бессмысленные колонки? Странно, однако: если честно, то я почти не волнуюсь за «Миссис Дэллоуэй». К чему бы это? На самом деле мне становится немного скучно, в первый раз, стоит только подумать, как много мне предстоит говорить о романе этим летом. Суть в том, что само писание доставляет глубочайшее удовольствие, а читатели — лишь поверхностное. У меня окончательно сложилось желание покончить с журналистикой и заняться романом «На маяк». Он должен быть довольно коротким; в нем будет подробный портрет отца; и матери; и Сент-Ивза; и моего

детства; и всего того, без чего нет моих романов — жизни, смерти и т.д. Однако в центре будет отец, сидящий в лодке, декламирующий. Мы гибнем, каждый сам по себе, а он в это время бьет умирающую макрель. Но я должна обуздать себя. Сначала нужно написать несколько рассказов и дать «Маяку» закипеть, добавляя по несколько фраз между чаем и обедом, пока он не забурлит.

Пятница, 15 мая

Две неблагоприятные рецензии на «Миссис Д.» («Вестерн мейл», «Скотсмен»); неумно, нехудожественно и т.д., а еще письмо от молодого человека из Эрлз-Корта*. «На этот раз у вас получилось — вы ухватили жизнь как она есть и сделали из нее книгу...» Пожалуйста, извини за несдержанность; дальнейшее цитирование необязательно, да и не думаю, что я вообще стала бы переписывать эти слова, если бы не шум в голове. Из-за чего? Наверное, из-за неожиданной жары и шумной жизни. Мне нельзя смотреть на свою фотографию.

Среда, 19 мая

Ну вот, Моргану нравится. Как гора с плеч. Больше, чем «Джейкоб», как он говорит: берег слова; целовал мне руку, а потом сказал, что ужасно рад и очень счастлив (примерно так). Он думает — нет, не буду вдаваться в подробности; я еще много чего услышу; а он говорил лишь о том, что мне надо писать проще, как многие теперь пишут.

Понедельник, 1 июня

Банковский выходной**, и мы в Лондоне. Писать о судьбе моих книг — занятие довольно скучное; однако сейчас обе уже спущены на воду, и «Миссис Д.» распродается довольно успешно. Куплено уже 1070 экземпляров. Я записала мнение Моргана; Вита слегка растеряна; Десмонд, которого я довольно часто вижу из-за его книги, свел на нет все похвалы, сказав, что Логан считает «Обык. чит.» неплохой книгой, но не более того. У Дес-

* Район в западной части Лондона <Прим, переводчика>.

** Особый выходной день, когда банки закрыты и в Англии объявляется нерабочий день. Впервые введен в 1871 г. (Прим, переводчика).

монла ненормальная способность наводить на меня тоску. Он удивительным образом скользит по краешку жизни. Я люблю его; однако его уравновешенность, его доброта, его ум, которые сами по себе божественны, почему-то не прибавляют ему блеска. Мне кажется, я чувствую это не только в его отношении к моей работе, но и в отношении к жизни вообще. Однако пришла миссис Гарди сказать, что Томас читает и она слышала, что Томас читает «Обык. чит.» с «превеликим удовольствием». В самом деле, за исключением Логана, этого прожженного американца, все меня очень хвалят. «Таухниц»* просит еще экземпляры.

Воскресенье, 14 июня

Постыдное признание — сегодня воскресенье, утро, пробило десять часов, а я пишу дневник, не прозу и не критику, и у меня нет никаких оправданий, кроме состояния моего рассудка. Правда, завершив две такие книги, нельзя сразу же сконцентрироваться на следующей; потом, еще есть письма, беседы, отклики, и все они парализуют мой разум. Я не могу успокоиться, взяться за работу и выключиться из жизни. Написала шесть маленьких рассказов, попросту выплеснула их на бумагу и подумала, наверное, слишком определенно: «На маяк». Пока обе книги имеют успех. Мы продали больше экземпляров «Мисис Д.» за один месяц, чем «Джейкоба» — за год. Кажется, нам удастся продать 2000 экземпляров. «Обык. чит.» на этой неделе тоже приносит доход. Пожилые джентльмены обращаются ко мне весьма почтительно и торжественно.

Четверг, 18 июня

Нет, Литтону не нравится «Миссис Дэллоуэй», и, как ни странно, я люблю его еще сильнее за то, что он это сказал, и мне в общем-то, все равно. Он говорит, что между орнаментом (на редкость прекрасным) и тем, что происходит (довольно заурядным — или незначительным), есть диссонанс. Причина этого, как он думает, во внутренних противоречиях самой Клариссы: он думает, что она неприятная, ограниченная, и я или смеюсь над ней, или совершенно закрываю ее собой. Итак, я думаю, что в целом книга звучит несолидно; все же он говорит, что она целостна и в некоторых местах стиль в высшей степени прекрасен.

* Известная книгоиздательская и книгопродающая фирма.

Иначе его не назовешь как гениальным. Он это сказал! Никто ничего не знает о гениальности. Но здесь ее больше, сказал он, чем во всем остальном, написанном мной. Возможно, **сказал** он, вы еще не довели свой метод до совершенства. Надо добавить чего-то непредсказуемого и фантастического, чтобы было все, как в «Тристреме Шенди»*. Но тогда я упусти чувства, ответила я. Да, он согласился со мной, вам нужно нечто реальное для начала. Один Бог знает, как вы это сделаете! Он думает, что для меня это начало, а не коней. И он сказал, что «Обык. чит.» божественная книга, классика, тогда как «Миссис Д.» для него, боюсь, разбитый камень. Все это очень личное, сказал он, и, наверное, устаревшее; я убеждена, что в его словах есть правда, потому что мне помнится ночь в Родмелле, когда я решила все бросить из-за Клариссы, показавшейся мне в некотором роде блестящей дешевкой. Потом я придумала ей воспоминания. Но, наверное, раздражение отчасти сохранилось. И вот то же самое в отношении Китти, читатели не должны любить персонажей искусства, какими бы важными они ни были, разве что некоторые обретают важность от важности того, что с ними происходит. Не это мучит и печалит меня. Не это странно. Когда Клайв и другие (некоторые) говорят, что я написала шедевр, их слова не очень меня трогают; а когда Литтон тыкает пальцем в дыры, я обретаю настроение. У меня нет ощущения успеха. Гораздо больше обычного рабочего драчливого настроения.

20 июля.

Продано примерно 1530 экземпляров.

Мне нравится ощущение еще одной попытки. Затри дня ничего не продано; но сейчас опять начинается легкое шевеление. Буду очень рада, если мы продадим 1500 экземпляров. Пока продано 1250.

Суббота, 27 июня

Неприятный холодный день, и вчерашний вечер был промозглым, ветреным, но во время пикника зажгли китайские фонарики в саду у Роджера. До чего же я не люблю себе подобных. Презираю их. Прохожу мимо, не оглядываясь. Позволяю им разбиваться об меня, словно грязным каплям дождя. У меня больше

* Роман Л.Стерна.

нет энергии, которая, учув одну из этих безжизненных теней, проплывающих мимо или взбирающихся на гору, могла бы дотянуться до нее, заполнить ее собой, пробудить ее, взбудоражить и, наконец, оживить и воссоздать. Когда-то я владела этим даром и у меня была страсть, отчего вечеринки получались веселыми, заводными. А теперь я просыпаюсь рано утром и наслаждаюсь тем, что могу провести целый день в одиночестве; целый день оставаться самой собой, немного печатать; спокойно скользить в глубоких водах своих мыслей, исследуя нижний мир, а потом, вечером, наполнять водоем Свифтом. Хочу написать о Стелле и Свифте для Ричмонда в знак благодарности за гиней с прилавка «Вог». Первый подарок «Обык. чит.» (книга теперь высоко оценена) — приглашение писать для «Атлантик Мансли». Итак, я опять загоняю себя в критику. Это великая вещь — возможность получать большие деньги за изложение своего взгляда на Стендаля и Свифта. (Пока я пытаюсь писать, у меня из головы не идет «Маяк» — в нем все время должно слышаться море. У меня появилась идея придумать другое название для книги вместо «романа». Новый — Вирджинии Вулф. Что? Элегия?)

Понедельник, 20 июля

Открылась дверь, и вошел Морган с приглашением на ланч в «Etoile», которое мы приняли, хотя у нас были отличная телятина и пирог с ветчиной (классический стиль журналистов). Это, наверное, идет от Свифта, с которым я как раз закончила, так что имею право поговорить с дневником. Надо подумать, что мне теперь писать. Наверное, небольшой рассказ, скорее обзор, в ближайшие две недели; еще у меня есть суеверное желание заняться «Маяком» в первый же день, когда мы будем в Монкс-Хаус. Думаю, там я могла бы написать его за два месяца. Слово «сентиментальный» мне поперек горла (я буду писать как бы изнутри в виде истории — Энн Уоткинс прилетает в среду из Нью-Йорка, чтобы взять у меня рассказы). Но тема-то как раз сентиментальная; отец, мать и ребенок в саду; смерть; поездка на маяк. Однако не исключено, едва я примусь за нее, как обогащу ее во всех смыслах; она станет гуще; у нее появятся ветки — корни, — о которых мне пока неизвестно. Наверняка все персонажи перекипят в моем вареве; детство; и еще то безличное, к чему меня подталкивают мои друзья, полет времени и со-

ответственно нарушение единства в предварительном плане. Я задумываю три части. 1. У окна в гостиной. 2. Через семь лет.

3. Поездка меня очень интересует. Новая проблема заново перерабатывает все в мозгах, не дает двигаться по накатанной. Что читать в Родмелле? Множество книг вспоминаются мне. Хотелось бы от души начитаться и собрать материал для серии «Жизнь неизвестных людей», которая должна рассказать обо всей истории Англии через — одну за другой — неизвестные жизни. Хотелось бы дочитать Пруста. Стендаль — а потом то-сё. Восемь недель в Родмелле всегда кажутся бесконечными. Купим ли мы дом в Саутхизе? Наверное, нет.

Четверг, 30 июля

Меня невыносимо тянет в сон, я совсем разбита и потому пишу тут. Мне в самом деле хочется начать новую книгу, но приходится ждать, пока просветлеет голова. Дело в том, что я колеблюсь между уникальным и сильным характером огца и куда более спокойной и широкомасштабной книгой — Боб Т.* ** говорит, что у меня определенно необычная скорость. Летние скитания с ручкой, кажется, подсказали мне пару новых хитростей для лояли моих мух. Я была похожа на импровизатора, наигрывающего мелодию за мелодией на фортепиано. Результат совершенно неубедительный и почти неграмотный. Мне хочется научиться большему покою и большему напору. Но если я возьмусь за такую задачу, разве мне не грозит опасность написать очередные плоские «Ночь и день»? Хватит ли мне сил для того, чтобы покой не навесил скуку? Подобные вопросы я пока оставляю без ответа. Итак, с этим эпизодом покончено. Ах, Боже мой, я слишком устала, чтобы писать, поэтому, полагаю, придется взять роман мистера Добре и прочесть его. Все же мне еще многое нужно сказать. Кажется, кое-что можно сделать в «Маяке», еще мельче раздробить чувства. В этом направлении я как будто и работаю.

Суббота, 5 сентября

Почему все это время я не понимала и не чувствовала, что понемногу истощаю себя и как будто еду с проколотыми шинами? Вот и случилось то, что случилось; упала в обморок в Чар-

* Р.Ч.Тревельян.

** Квентин Белл.

льстоне, как раз посреди дня рождения К.**, а потом две недели отлеживалась с головной болью, как амфибия. Это проделало большую дыру в восьми неделях, которые были до отказа заполнены всякими планами. Ничего. Заново скомпоную все то свободное время, что мне выпадет. Меня не выбьет из седла никому и ничему не подчиняющаяся злодейка-жизнь, измученная, заезженная моей же собственной непонятной и непредсказуемой нервной системой. В мои сорок три года мне ничего о ней неизвестно, потому что все лето я твердила себе: «Со мной все в порядке. Я могу сама справиться с бурей чувств, из-за которой два года назад от меня бы мокрого места не осталось».

Я совершила стремительную и эффективную атаку на «Маяк», двадцать две страницы — меньше, чем за две недели. Я все еще еле ползаю и легко устаю, но если бы мне вновь удалось справиться с силами, уверена, я бы с бесконечным наслаждением раскрутила его дальше. Подумать только, с каким трудом мне давались первые страницы «Дэллоуэй»! Каждое слово безжалостно терзало мозг.

Понедельник, 13 сентября, наверно

Позорный факт — я пишу это в десять часов утра, лежа в кровати в маленькой комнате с окнами в сад; солнце светит вовсю, виноградные листья прозрачно-зеленые, а листья на яблонях сверкают так, что за завтраком мне пришла в голову история о человеке, который написал стихотворение, как мне помнится, сравнив их с бриллиантами и паутину (то появляющуюся, то неожиданно исчезающую) тоже как будто с бриллиантами или с чем-то другим; и в итоге я задумалась о Марвелле с его деревенской жизнью, потом о Геррике, и вот моя реакция — в основном они зависели от городской жизни и городского веселья. Однако я забылась. Все это я пишу отчасти для того, чтобы проверить состояние моих бедных нервов на шее сзади — выдержат они или опять не выдержат, как с ними случается довольно часто? — ибо я опять, как амфибия, то в постели, то не в постели; отчасти чтобы унять зуд («унять зуд!») писания. Это великое утешение и великое наказание.

Вторник, 22 сентября

Как же у меня ухудшился почерк! Еще одна жертва, принесенная «Хогарт-пресс»*. Однако за все, что я должна «Хогарт-пресс», заплачено как раз написанным моим почерком. Разве я только что не отказала Герберту Фишеру в книге о поствикторианцах для университетской серии? — ведь я знаю, что могу написать книгу для «Пресс», отличную книгу, не похожую ни на какую другую, если захочу! Но как только подумаю о дубинках университетских преподавателей, у меня кровь стынет в жилах. Все же я единственная женщина в Англии, которая вольна писать, что хочет. Другим приходится думать о сериях и редакторах. Вчера узнала от Харкорта Брейса, что «Миссис Д.» и «Обык. чит.» продаются по 148 и 73 экземпляра в неделю — разве не удивительно для четвертого месяца?! Неужели и теперь у нас не хватит денег на ванную комнату и туалет здесь или в Саутхизе? Я пишу при заходящем солнце, когда все вокруг синее, как вода, будто покаяние за брюзгливый ненастный день, который миновал, оставив после себя облака, сверкающие золотом над вершинами гор и увенчивающие их золотыми коронами.

Вторник, 7 декабря

Читаю «Поездку в Индию»**, но не буду распространяться о ней здесь, как мне приходится в других местах. Эта книга для «Хогарт-пресс». Мне, кажется, удастся выработать теорию художественной литературы: вот прочитаю шесть романов и тогда начну гоняться за зайцами. В первую очередь я имею в виду перспективу. Но не знаю. Голова работает плохо. Не могу долго сосредоточиваться на чем-нибудь одном. Зато могу — если «Обык. чит.» считать проверкой — выдавать идеи и выражать их без особой путаницы. (Кстати, Роберту Бриджесу понравилась «Миссис Дэллоуэй»; он говорит, что никто не будет это читать, но написано прекрасно, и что-то еще, что Л., который слышат это от Моргана, забыл.)

Не думаю, что «развитие», но что-то все-таки есть в прозе и в поэзии, в романах. Например, с одной стороны Дефо, с дру-

* Семейное издательство Вулфов (Прим, переводчика).

** Роман Э.М.Форстера (Прим, переводчика).

гой — Э.Бронте. Реальность как нечто, рассматриваемое с разных точек. Нужно входить в обыденность, в жизнь как она есть и т.д. Мне, может быть, этого и достаточно — этой теории, — но для других ее придется обосновывать и чем-то подкреплять. И смерть — я все время чувствую — никак не отстает. 43; сколько еще будет книг? Пришла Кэти*; нечто вроде побитой жизнью основы в обрамлении бесполезной красоты. Вместе с упругой кожей и голубизной глаз исчезли внушительные манеры. А я помню, какой она была лет 25 назад в Гайд-Парк-гейт, 22; в коротком жакете и юбке; великолепная; глаза полуприкрыты; прелестный насмешливый голос, прямая спина; потрясающая; застенчивая. А теперь она трещит без умолку.

«Герцоги не просили моей руки, дорогая Вирджиния. Они называли меня Снежной Королевой. Почему я вышла замуж за Кроумера? Я ненавидела Египет, и я ненавидела больных. У меня было два счастливых времени в жизни: детство — нет, не когда я росла, а потом, с моим мальчишеским клубом, с моим домом и моим чау — и теперь. Теперь у меня есть все, что мне нужно. Мой сад — и моя собака».

Не думаю, чтобы ее очень волновал ее сын. Она принадлежит к тем холодным эксцентричным великим англичанкам, которые наслаждаются своим положением, придающим им важность в Сент-Джон-вуд**; теперь она может тыкаться во все пыльные углы и дыры, одеваться как поденщица, и руки у нее стали, как у обезьяны, да и под ногтями вечная грязь. К тому же она все время говорит. И очень исхудала. Почти сливается с туманом. Но мне это нравится, хотя, полагаю, у нее вряд ли есть привязанности и тем более страстный интерес к чему бы то ни было. Ну вот, я выплакалась, показалось солнце, и пора составлять список рождественских подарков.

*Леди Кроумер.

** Парк в центральном Лондоне.

Вторник, 23 февраля

Моя книга треплет меня, словно старый флаг. Речь о романе «На маяк». Полагаю, в моих собственных интересах сказать, что наконец, наконец-то, после сражения под названием «Комната Джейкоба», после той агонии — все было агонией, кроме последнего романа, — «Миссис Дэллоуэй», я пишу быстро и свободно, как еще никогда в жизни не писала; гораздо быстрее — раз в двадцать — любого прежнего романа. Думаю, это доказывает, что я на правильном пути; и все, что созрело в моей душе, выйдет наружу. Забавно, что я теперь придумываю теории о быстроте и плодовитости: обычно я молилась о краткости и немногословности. Как бы то ни было, утром все время так, и у меня хватает ума не подгонять свои мозги еще и вечером. Я живу в романе и выбираюсь на поверхность обычно сама не своя, не в силах придумать ни одной фразы, пока мы гуляем по Площади, и это плохо, я знаю. Хотя для книги, наверное, хороший знак. Кстати, такое со мной уже не в первый раз; все мои книги писались таким образом. Это значит, я могу все пустить в ход; а «все» значит толпа, тяжесть, смятение в мыслях.

Суббота, 27 февраля

Пожалуй, я заведу новую привычку в дневнике и буду начинать каждый день с новой страницы — так я делаю, когда я пишу серьезную литературу. Конечно же, у меня есть возможность написать лишний листок в этом ежегоднике. Что же до души, почему я сказала, что она мне не нужна? Забыла. По правде говоря, нельзя писать о душе впрямую. Стоит на нее посмотреть, и она исчезает; но поглядишь на потолок, на Гриззла*, на зверей в зоопарке, которых показывают гуляющим в Риджентс-Парк, и душа вновь на месте. Вот и сегодня тоже. Я буду писать о том, о чем

* Собака В. Вулф.

говору, глядя на бизона: невопад отвечая Л.; но что я собиралась написать?

Книжка миссис Уэбб заставила меня призадуматься о том, что я могу сказать о собственной жизни. Сегодня утром у меня немного болела голова, и я читала записи 1923 года, радуясь сладчайшему глотку тишины. Но в ее жизни не все было гладко; молитва; принцип. В моей ничего подобного. Великое возбуждение и вечный поиск. Великое удовлетворение — почти всегда наслаждение тем, что я делаю, но и постоянные изменения в настроении. Кажется, мне никогда не бывает скучно. Иногда я немного выдыхаюсь; но у меня хватает сил взять себя в руки — это уже проверено; и теперь я проверяю себя в пятидесятый раз. Мне все еще приходится очень заботиться о своей голове: но, как я сказала сегодня Леонарду, я наслаждаюсь, как эпикуреец; отхлебываю и закрываю глаза, чтобы ощутить вкус. Почти все дарит мне наслаждение. И все же во мне сидит некий беспокойный изыскатель. Почему нет открытий в жизни? Чего-то такого, что можно потрогать и о чем сказать: «Вот оно!» Моя депрессия — усталость чувств. Я ищу; но это не то, и это не то. А что — то? Неужели я умру, так и не отыскав то самое? Когда я вчера вечером проходила по Расселл-сквер, то видела в небе горы: большие облака; и луну, встававшую над Персией. У меня удивительное сильное ощущение чего-то тамошнего, что есть «то самое». Это не красота в прямом смысле. Это — то, что внутри: удовлетворение; достижение. Ощущение моей отчужденности, пока я брожу по земле, тоже есть: крайне странного положения человека; бежишь себе по Расселл-сквер, а над головой светит луна и летят горы-облака. Кто я? Что я?.. Эти вопросы вечно не дают мне покоя; а потом я наталкиваюсь на что-то конкретное — письмо, человека — и возвращаюсь к ним с великим ощущением обновления. Так и идет. Но, говоря об этом, не кривя душой, насколько мне это удастся, я довольно часто повторяю «то самое»; а потом ощущаю полный покой.

Вторник, 9 марта

Что до приема Мэри*, то, если не считать мою обычную робость в отношении пудры, румян, туфель, чулок, я была счаст-

* Миссис Сент-Джон Хатчинсон. Ее портрет кисти Ванессы Белл находится в галерее «Тейт».

лива благодаря высшей власти литературы. Она считает нас милыми и здравомыслящими. Я имею в виду Джорджа Мура, меня.

У него розовое глуповатое лицо; голубые глаза, как непроницаемые мраморные камешки; шапка белоснежных волос; маленькие слабые ручки; покатые плечи; большой живот; отлично пригнанный вычищенный костюм; и великолепные манеры, как я это понимаю. Это значит, что он говорит не заискивая и не подавляя собеседника, принимая меня такой, какая я есть, — и всех такими, какие они есть. Несмотря ни на что, он не запуган, не забит, живой и умный. А что о Гарди и Генри Джеймсе?

«Я довольно скромный человек; но вынужден признать, “Эстер Уотерс”* мне нравится больше, чем “Тесс”**». Что можно сказать в пользу этого человека? Он не умеет писать. Он не умеет рассказать историю. А ведь суть художественной литературы в искусстве рассказывать истории. Вот он заставляет женщину признаваться. Как он это делает? От третьего лица — а ведь сцена должна быть трогательной, впечатляющей. Представляете, как бы это сделал Толстой!»

«Однако, — сказал Джек***, — “Война и мир” величайший роман в мировой литературе. Я помню сцену, в которой Наталия приклеивает усы и Ростов, в первый раз обратив на нее внимание, влюбляется.

Нет, мой добрый друг, в этом нет ничего исключительного. Самая обыкновенная наблюдательность. Однако, мой добрый друг (это он мне, замешкавшись, прежде чем назвать меня так), не хотите ли вы что-нибудь сказать о Гарди? Вам нечего сказать. Худшая часть английской литературы — английская художественная литература. Сравните ее с французской — с русской. Генри Джеймс написал несколько прелестных вещишек, прежде чем выработал свой жаргон. Но они о богатых людях. Нельзя писать рассказы о богатых людях, если, как я полагаю, хочешь сказать, что у них нет инстинктов. Ни один из его персонажей не знает истинной страсти. Анна Бронте была величайшей из всех Бронте. Конрад не умел писать». И так далее. Но это уже устарело.

* Роман Джорджа Мура, ирландского писателя.

** Роман Гарди.

*** Мистер Сент-Джон Хатчинсон.

Суббота, 20 марта

Вчера я спрашивала себя, что будет со всеми моими дневниками. Если я умру, что Лео сделает с ними? Ему не захочется жечь их: но он не сможет их опубликовать. Полагаю, он выберет что-то из них и составит книгу, а остальные сожжет. Смею заметить, книга получится небольшой, если все каракули и загогулины немного выпрямить. Нуда Боге ними. Это все из-за легкой меланхолии, которая время от времени находит на меня и заставляет думать, будто я старая и уродливая. Повторяюсь. Все же, насколько я понимаю, я лишь теперь пишу по-настоящему.

Пятница, 30 апреля

Закончился дождливый ветреный месяц, разве что на Пасху мы растворили все двери и воссияло лето, как всегда, полагаю, но за облаками. Я ничего не говорила об Иверн-Минстере. Интересно, **что** мне запомнилось. Крэнборн-Чейз: чахлые леса, сильно поредевшие и не восстановленные искусственным путем; анемоны, колокольчики, фиалки, все цветы бледные, растут далеко друг от друга, в них нет красок, жизни, ибо почти нет солнца. Потом Блэкмор-Вейл: огромный воздушный купол и брошенные на дно поля; солнце то пояшнется, то исчезает; потом начинается короткий ливень, словно струящаяся с небес завеса; горы поднимаются почти отвесно (если это слово подходит), топорщись выступами; надпись в церкви **«Искал покой и нашел его»** и вопрос — кто писал подобные высокопарные эпитафии? — удивительная чистота деревни Иверн, ее счастье и благоденствие заставляют меня задавать вопросы, когда нагнет к недоверчивой улыбке, но это все правильно, так и должно быть; потом чай с молоком — и я помню: горячие ванны; мое новое кожаное пальто; Шефтсбери, куда как ниже и не такой внушительный, как я себе представляла, потом поездка в Бурнмаут, там собака, и дама за скалой, и вид на Свонадж, потом возвращение домой.*

Вчера закончила первую часть романа «На маяк» и сегодня начала вторую. Пока не знаю, как с ней быть, — это самый трудный и абстрактный кусок — я должна показать пустой дом, никаких персонажей, течение времени, ничего видимого и осязае-

* Путешествие по графству Дорсет (Прим. переводчика).

мого, на что можно опереться: ладно, я берусь за нее и сразу же пишу две страницы. Чепуха? Удача? Почему меня переполняют слова и я чувствую себя способной делать все, что хочу? Когда я перечитываю, написанное кажется мне одухотворенным; правда, требуется немного ужать, но немного. Сравниваю мою теперешнюю свободу с той, когда я писала «Миссис Дэллоуэй» (за исключением конца). Это не выдуманно, это факт.

Вторник, 25 мая

Я закончила — правда, вчера — вторую часть романа «На маяк» — и смогу, по-видимому, написать все до конца июля. Рекорд. Семь месяцев, если получится, как я задумала.

Воскресенье, 25 июля

Поначалу мне пришло в голову, что это Гарди, а это была горничная, невысокая худенькая девушка, как положено, в чепце. Она принесла кексы на серебряных блюдах и все прочее. Миссис Гарди рассказывала нам о своей собаке. Сколько времени мы можем пробыть у них? В состоянии ли мистер Гарди совершать длительные прогулки, и так далее, спрашивала я, чтобы поддержать разговор, ибо понимала, что деваться некуда. У нее большие и тусклые глаза бездетной женщины; она очень послушна и с готовностью на все откликается, словно хорошо выучила свою роль; в ней нет особой радости, но она с покорностью примет сколько угодно посетителей; на ней прозрачное узорчатое платье, черные туфли и ожерелье. Теперь мы не можем ходить далеко, говорит она, хотя гуляем каждый день, но нашу собаку нельзя брать далеко. Он кусается, поясняет она. Когда она заговаривает о собаке, то ожигается и становится более естественной, по-видимому, все ее мысли крутятся вокруг пса — потом опять пришла горничная. Потом опять распахнулась дверь, почти молодечески, в комнату вбежал маленький веселый старичок с пухлыми щечками, внося с собой атмосферу веселости и деловитости, и обратился к нам, словно старый доктор или семейный адвокат: «Ну-с, как мы поживаем?..» Он жал нам руки и бормотал что-то в этом роде. На нем был серый костюм с галстуком в полоску. Я обратила внимание на тонкий нос, кончик которого загибается вниз. На круглое белое лицо. Стаза то ли потускнели, то ли всегда были водянистыми. Но впечатление он произвел живое и решительное. Уселся на треугольный стул (я

слишком устала от всех приходов и уходов, чтобы описывать что-то, помимо фактов) за круглый стол, на котором были блюда с кексами и все прочее; шоколадный батончик; то, что называют хорошим чаем; но выпил он всего одну чашку, сидя на своем треугольном стуле. Он был в высшей степени приветлив и отлично выполнял свои обязанности, не позволяя беседе затихнуть и не пренебрегая своим участием в ней. Вспоминал об отце, говорил, что видел меня, или, может быть, это была моя сестра, но ему кажется, что это все-таки была я в колыбельке. Он бывал на Гайд-Парк-плейс — о нет, это Гайд-Парк-гейт. Очень тихая улица. Поэтому мой отец любил ее. Странно было бы думать, что за все годы он не побывал там еще хоть раз. Он бывал там часто. «Ваш отец взял мой роман “Вдали от безумной толпы”*. В некоторых вещах, которые затрагивал этот роман, мы стояли плечом к плечу против британской публики. Наверное, вы сами об этом знаете». Потом он рассказал, как некоторые другие его романы пропали, когда их уже должны были печатать, — посылка не дошла из Франции. «Такое случалось не часто, как сказал ваш отец, — большая рукопись; и он попросил меня прислать ему мое сочинение. Думаю, он нарушил все законы Корнхилла — ведь он не видел роман целиком; и так я посылал ему главу за главой и ни разу не опоздал. Юность — замечательная штука!» Об этом я, несомненно, подумала, но долго не размышляла. Славы выходили каждый месяц. Ситуация была нервной, думаю, из-за мисс Теккерей. Она сказала, что ее парализовало и она сама не может написать ни строчки, когда начали появляться отклики. Увы, для романа такое появление не из лучших. Люди думают о том, что хорошо аля журнала, а не для романа.

«Думаете о непроницаемом занавесе?» — пошутила миссис Гарди.

Она сидела, наклонившись над чайным столиком, но ничего не ела — смотрела вдаль.

Потом мы стали разговаривать о рукописях. Миссис Смит отыскала рукопись «в о. б. т.»** в ящике стола во время войны и продала ее на нужды Красного Креста. Теперь рукопись вернулась, но издатель снимает все пометки. А он хочет, чтобы они были сохранены, ибо в них доказательство ее подлинности.

* Роман Томаса Гарди.

** («Вдали от безумной толпы»).

Он опускает голову, как старый лобастый голубь. У него очень длинная голова; лукавые блестящие глаза, и во время беседы они сверкают. Он сказал, что когда шесть лет назад был в Стрэнде, то едва узнал его, а ведь когда-то исходил его вдоль и поперек. Еще он рассказал нам, что обычно покупает книги у букинистов — ничего ценного — на Уик-стрит. Потом он выразил удивление, почему Грейт-Джеймс-стрит такая узкая, а Бедфорд-Роу, наоборот, широкая. Он несколько раз повторил это. Если так будет продолжаться, Лондон вскоре станет неузнаваемым. Но я больше не поеду туда. Миссис Гарди постаралась внушить ему, что поездка теперь не составляет такого труда, — всего шесть часов или около того. Я спросила, понравилось ли ей в Лондоне, и она ответила, якобы Грэнвиль Баркер говорила ей, что, когда была в частной лечебнице, наслаждалась «настоящей жизнью». Она всех знала в Дорчестере, однако думала, будто самые интересные люди живут в Лондоне. Часто ли я бывала дома у Зигфрида*? Я сказала, что нет. Тогда она стала расспрашивать о нем и о Моргане, сказала, что он был неуловим и они вроде бы получали удовольствие от его визитов. Я сказала, что слышала от Уэллса, будто мистер Гарди приезжал в Лондон посмотреть на воздушный налет. «Чего только не придумают! — воскликнул он. — Все моя жена. Один раз ночью, когда мы были у Барри, случился воздушный налет. Мы даже слышали взрыв вдалеке. Прожекторы были очень красивые. Я подумал, если бомба упадет сейчас на квартиру, то погибнет много писателей». И он улыбнулся, в своей странной манере, то есть искренне и немного саркастически одновременно; как бы то ни было, улыбка у него умная. В самом деле, мне ни разу не пришла в голову мысль о простом крестьянине. Казалось, он все прекрасно знает; не сомневается и не растерян; он принял решение; и, избавленный от всякой работы, об этом тоже, несомненно, думал. Его не очень интересовали ни его собственные, ни чужие романы: так что он все воспринимал легко и естественно. «Я никогда не работал над ними долго, — сказал мистер Гарди. — Самая большая работа была с “Диннастами”» (так он произнес). «Но ведь это на самом деле три книги», — сказала миссис Гарди. «Да; и я работал над ними шесть лет, правда, с пе-

* Зигфрид Сассун.

перывами». — «А стихи вы пишете постоянно?» — спросила я (охваченная желанием услышать от него что-нибудь о его книгах, но все время мешал пес: как он кусается; как приходил инспектор: какой болел и они ничего не могли для него сделать). «Вы не будете возражать, если я впущу его?» — спросила миссис Гарди, и в комнату вошел Уэссекс, очень лохматая, невоспитанная коричнево-белая дворняга; он сторожит дом, поэтому, естественно, кусает людей, сказала миссис Гарди. «Ну, я не знаю», — нимато не растерявшись, произнес Гарди, по-видимому, не очень интересуясь и своей поэзией тоже. «Вы пишете стихи, когда работаете над романами?» — спросила я. «Нет, — ответил он. — Я писал очень много стихотворений и всем посылал их, но они возвращались. — Он усмехнулся. — В те времена я верил редакторам. Многие потерялось — все начисто переписанные экземпляры пропали. Однако я отыскиваю черновики и переписываю их. Я все время что-нибудь нахожу. Вот и накануне тоже. Но не думаю, что отыщется еще что-нибудь.

Зигфрид снял комнаты поблизости и сказал, что собирается всерьез работать, но вскоре уехал.

Э.М.Форстеру надо много времени, чтобы что-нибудь сочинить, — семь лет, — вновь усмехнулся он. — Та легкость, с какой он работал, производила огромное впечатление. Смеею думать, «Вдали от безумной толпы» было бы намного лучше, если бы я писал иначе». Он это сказал так, словно ничего нельзя было изменить, да это и не имело значения.

Он часто бывал у Лашингтонов на Кенсингтон-сквер и встречал там мою мать. «Она входила и выходила, пока мы разговаривали с вашим отцом».

Я хотела, чтобы он хоть что-нибудь рассказал о своем творчестве до нашего ухода, но смогла спросить лишь, какую из своих книг он выбрал бы, если бы, подобно мне, ему предстояло ехать в поезде и хотелось бы скоротать время за чтением. Я взяла бы «Мэра Кестербриджа»*. «Из него сейчас делают пьесу», — вмешалась миссис Гарди и принесла «Забавные истории из жизни»**.

* Роман Томаса Гарди «Мэр Кестербриджа, жизнь и смерть человека с характером».

** Сборник рассказов Томаса Гарди.

«Вам это интересно?» — спросил он. Я пролепетала, что постоянно читаю его, и это было правдой, но прозвучало фальшиво. Как бы то ни было, он не был польщен и отправился искать свадебный подарок для молодой дамы. «Мои книги совсем не подходят для свадебного подарка», — сказал он. «Ты должен дать миссис Вулф одну из своих книг», — твердо произнесла миссис Гарди. «Да, конечно. Но боюсь, у меня остались только книжки в обложках». Я проговорила, что вполне достаточно, есл и он напишет свое имя (было немного неудобно).

Потом заговорили о де ла Мэре. Его последняя книга рассказов совсем им не понравилась. Гарди очень любил кое-какие из его стихотворений. Если судить по написанному им, он должен быть очень мрачным, а он очень милый — правда, очень милый. Он сказал приятелю, который просил его не бросать поэзию: «Боюсь, поэзия бросила меня». Суть в том, что он очень добрый человек и не может отказать никому, кто жаждет с ним встречи. Иногда у него бывает до шестнадцати человек в день. «Вы предполагаете, человек, который видит много людей, не может писать стихи?» — спросила я. «Может — почему не может? Все дело в физической выносливости», — ответил Гарди. Но было очевидно, что сам он предпочитает уединение. И тем не менее, он все время что-то прочувствованно и искренне говорил, отчего обычные комплименты становились попросту неуместными. Он совершенно свободный человек; напряженно думающий; любит говорить о людях, но не любит абстрактных разговоров; например, полковник Лоуренс проехал на велосипеде со сломанной рукой, «держа ее вот так», от Линкольна до Гарди и слушал у двери, нет ли кого-нибудь внутри. «Надеюсь, он не совершит самоубийства, — задумчиво произнесла миссис Гарди, все еще склоняясь над чашками и печально глядя перед собой. — Он часто говорит об этом, хотя ни разу не сказал впрямую. Но у него синие круги под глазами, и он называет себя "Шоу в армии". Никто не должен знать, где он находится. Однако об этом все время пишут в газетах». — «Он обещал мне, что не будет летать», — сказал Гарди. «Моему мужу не нравится иметь дело с небом», — пояснила миссис Гарди.

Мы посмотрели на дедовские часы вуглу и сказали, что нам пора, — пытаясь объяснить, что мы приехали всего на один

день. Я забыла сказать, что он предложил Л. виски с водой, и это меня поразило, потому что он знал толк в приеме гостей, да и во всем остальном тоже. Итак, мы поднялись и расписались в книге для гостей миссис Гарди, а Гарди взял мой экземпляр «Забавных историй из жизни» и вернул его мне подписанным; вместо Woolf он написал Wolff, что как будто немного его смутило. Потом опять пришел Уэссекс. Я спросила, может ли Гарди погладить его. Он наклонился и погладил пса, и зображая хозяина дома. Уэссекс тяжело дышал.

Я не заметила в Гарди ни следа излишней почтительности к редакторам или положению в свете, так же как не заметила особой простоты. Меня поразили его свобода, легкость и жизненная сила. Он стал для меня «Великим Викторянцем», который все делает одним мановением руки (у него самые обычные маленькие сморщенные ручки) и не наживается на литературе; однако в высшей степени интересуется фактами; разными случаями; и каким-то образом каждому это представляется по-своему, вполне естественно включает свое воображение и творит, не думая о трудностях или о собственном величии; им завладевает навязчивая идея, и он живет своим воображением. Миссис Гарди подала ему старую серую шляпу, и он едва ли не бегом отправился вместе с нами к дороге. «Где это?» — спросила я, показывая на холм напротив с деревьями на вершине, ибо его дом находится в пригороде, на открытом пространстве (с массивными холмами, увенчанными небольшими коронами из деревьев), и он ответил, оживившись: «Это Веймут. Вечерами мы видим огни — не сами огни, а их отражения». Мы покинули его, и он побежал обратно.

Еще я спросила его, нельзя ли посмотреть на портрет Тесс, на ту старую картину о которой говорил Моршн: и он показал мне входящую в комнату Тесс на ужасной гравюре с картины Геркомера. «Я так представлял ее», — сказал он. Но я возразила, что слышала о старом портрете. «Это все литература. — ответил он, — я уже привык видеть людей, похожих на нее».

«Вы знакомы с Оллосом Хаксли?» — спросила миссис Гарди. Я сказала, что знакома. Они читали его книгу, которая оказалась ей «очень умной». Однако Гарди не мог вспомнить какую: он сказал, что жена читает ему, — с глазами у него стало плохо. «У них теперь все по-другому, — сказал он. — Мы

привыкли считать, что есть начало, середина и конец. Мы верили в теорию Аристотели. А одна из нынешних историй заканчивается тем, что женщина выходит из комнаты». Он хохотнул. Романы он перестал читать. Все это — литература, романы и так далее — кажется ему забавным, но очень далеким, что не стоит принимать всерьез. Все же он относится с симпатией и сочувствием к тем, кто еще занимается литературой. Но в чем заключаются его тайные интересы и тайная деятельность — к какому делу он побежал, когда мы расстались, — я не знаю. Маленькие мальчики пишут ему из Новой Зеландии, и им нужно отвечать. Японская газета опубликовала «номер Гарди», который он показал нам. Мы говорили также о Бландене. Думаю, благодаря миссис Гарди его не забывают молодые поэты.

Родмелл, 1926

Поскольку я собираюсь на целую неделю дать мозгам отдых, то напишу здесь первые страницы величайшей в мире книги. Это то, чем стала бы книга, если бы она была создана единственно чистой мыслью. Представим, что ее можно уловить, прежде чем она станет «творением искусства»! Хватайте ее горяченькой, едва она появится в голове — например, пока вы поднимаетесь на Ашем. Конечно, это невозможно, так как языковой процесс медленный и обманчивый. Надо остановиться, чтобы подобрать слово. Потом еще фраза, требующая определенного наполнения.

Искусство и мысль

Думала я вот о чем: если искусство основано на мысли, то что представляет собой процесс превращения? Я рассказывала себе историю нашего визита к чете Гарди и тотчас начата формировать ее, то есть акцентировать внимание на том, как миссис Гарди наклоняется над столом, смотрит апатично, ни о чем не думая, перед собой, и это как главная тема гармонизированного сюжета. Однако реальный эффект был совсем другим.

Датьше

Я почти ничего не читала. Однако он дал мне книги, и теперь я читаю «С»* М.Бэринга. Самый странно было, когда я обнаружила, что это неплохо. Как неплохо? Легче сказать, что это не великая книга. Но чего ей не хватает? Наверное, она ничего не прибавляет к моему пониманию жизни. И все же в ней трудно найти серьезный недостаток. Удивительно, что явно второсортные книги типа этой, выпускаемые ежегодно в количестве, думаю, не меньше двадцати штук, имеют столько достоинств. Никогда не читая ничего подобного, я думала, ничего подобного не существует. Если честно, так оно и есть. То есть это не будет существовать в 2026 году; а сейчас в некотором роде существует, и это меня немного удивляет. Сейчас «Кларисса» наводит на меня скуку; и все же я чувствую, как это важно. Почему?

Мой разум

Случился настоящий нервный срыв в миниатюре. Мы приехали во вторник. Я бросилась в кресло и не смогла подняться; все стало скучным; безвкусным, бесцветным. Единственное желание — отдыхать. Среда — единственное желание быть в одиночестве на свежем воздухе. Воздух чистейший — только бы ни с кем не говорить; не могла читать. С почтением думала о собственной способности к писанию, как о чем-то неправдоподобном и принадлежащем кому-то другому; никогда больше мне не радоваться этому. В голове пустота. Спала в кресле. Четверг. Никакого удовольствия от жизни; однако как будто ощутила тягу к существованию. Персонаж и идиосинкрязия к персонажу Вирджиния Вулф совершенно исчезают. Робость и скромность. Мне трудно придумать, что сказать. Читаю автоматически, как корова жует жвачку. Спала в кресле. Пятница: ощущение физической усталости; однако появилось легкое движение мыслей. Начинаю что-то замечать. Строю планы. Нет сил составить фразу. С трудом написала леди Коулфакс. Суббота (сегодня) намного яснее и светлее. Ду-

* «С» — роман Мориса Бэринга.

мала, что могу писать, но сопротивлялась этому или считала это невозможным. Желание читать стихи появилось в пятницу. Это возвращает мне чувство собственной индивидуальности. Читаю немного Данте и Бриджеса, не стремясь к пониманию, но получая удовольствие от обоих. Теперь мне захотелось делать записи, но пока еще о романе и речи нет. Однако сегодня всколыхнулись чувства. Пока нет сил «что-то делать»: никакого желания вкладывать чувства в книгу. Возвращается любопытство к литературе: хочу читать Данте, Хейвлока Эллиса и автобиографию Берлиоза; еще мне хочется зеркало в оправе из ракушек. Такие приступы иногда длятся по несколько недель.

Изменение пропорций

Вечером или в бесцветные дни пропорции пейзажа резко меняются. Я видела, как люди, игравшие на лугу в мяч, как будто провалились на ровном месте; а холмы поднялись и окружили их. Детали сделались смазанными. Но это удивительно красиво: цвета женских платьев стали как будто ярче и чище на почти незапятнанном фоне. Я понимала, однако, что пропорции ненормальные — словно я смотрела между ног.

Второсортное искусство

то есть «С» Мориса Бэринга. В заданных пределах это не второй сорт, здесь нет ничего бросающегося в глаза как второй сорт, как будто. Доказательством его несуществования является ограниченность. Он может делать лишь одно; то есть изображать себя; очаровательного, чистого, скромного, чувствительного англичанина. Вне этого радиуса ему нечего сказать; все — как должно быть — светло, уверенно, пропорционально, даже привлекательно; и рассказано гладкописью, в которой нет ничего преувеличенного, несоотнесимого и непропорционального. Я могла бы читать такое всю оставшуюся жизнь, сказала я. А.Л. заметил, что скоро мне до смерти осточертело бы это.

Из племени воробьев. Две решительные, загорелые, пропыленные девушки в коротких юбках и свитерах, с рюкзаками за спинами, городские служащие, секретарши идут по самому солнцепеку в Райп. Я, не раздумывая, ставлю между нами экран — осуждаю их, наделяю угловатостью, неловкостью и самоуверенностью. Но это очевидная ошибка. Экран мешает мне видеть. Не надо никаких экранов, ведь экраны — это наша собственная шелуха, которая отвергает все, что не имеет с ней ничего общего. Привычка заслоняться, однако, универсальна и, вероятно, стоит на защите здравого смысла. Если бы у нас не было средства не подпускать людей к своим чувствам, мы, верно, полностью растворились бы в них; отдельное существование стало бы невозможным. Однако в избытке экраны, а не чувства.

Возвращение здоровья

подтверждается возможностью думать образами; невероятно усиливается способность видеть окружающее и чувствовать слово. Наверное, Шекспир владел этим до такой степени, что мое обычное состояние показалось бы ему состоянием человека слепого, глухого, немого, созданного из камня, да еще с рыбьей кровью. Бедняжка миссис Бартоломью почти то же самое в сравнении со мной, что я в сравнении с Шекспиром.

Банковский выходной

Очень толстая женщина, девушка и мужчина проводят этот день — необыкновенно погожий, солнечный день — на кладбище, навещая могилы родственников. Двадцать три человека — юноши и девушки — проводят этот день, шагая по дорогам с уродливыми ящиками в руках, и делают фотографии. Мужчина тоном превосходства и легкого пренебрежения говорит женщине: «Наверное, не все в этих тихих деревушках знают о банковском выходном дне».

^{*} Перелётные птицы, туристы, любители пеших турпоходов (Прим. переводчика).

Семейные отношения

Арнольд Беннетт утверждает, что ужас брака в его «повседневности». Из-за нее исчезает острота ощущений. Правда, скорее всего, заключена в том, что жизнь — скажем, четыре дня из семи — проходит автоматически; однако на пятый день капля чувств (мужа и жены) создает нечто полное и нежное именно из-за автоматических привычных бессознательных дней, прожитых обеими сторонами. Скажем так, год отмечен мгновениями великой насыщенности. «Моменты провидения» Гарди. Если этого нет, то какие могут быть семейные отношения?

Пятница, 3 сентября

Женщины в чайном саду в Брамбере — душный жаркий день: розовые шпалеры; добела отмытые столы; низы среднего класса; мимо все время проезжают omnibusy с моторами; серые камешки валяются на замусоренной траве — это все, что осталось от замка.

Облокотившаяся на стол женщина командует праздником двух пожилых женщин, за которых платит официантке (толстой девушке с апельсиновыми волосами и телом, как самый мягкий ляд, которой надо поскорее замуж, но ей всего лишь шестнадцать или около того).

Ж е н щ и н а : Что вы можете предложить нам к чаю?

Д е в у ш к а (уперев руки в бока, со скучающим видом): Кекс, хлеб с маслом, чай. Джем?

Ж е н щ и н а : Тут много ос? Они ползают в джеме (говорит с таким видом, будто полагает, что джем не стоит брать).

Девушка соглашается.

Ж е н щ и н а : Ах, в этом году столько ос!

Д е в у ш к а : Так и есть.

В итоге женщина не берет джем.

Меня это как будто позабавило.

Еще были Чарльстон, Тилтон (дом Кейнсов), «На маяк», Вита, поездки: все лето я чувствовала, будто купаюсь в безбрежном

теплом чистом воздухе — такого августа уже давно не было; велосипед; никакой определенной работы, зато дышала, сколько хотела, отправляясь к реке или за холмы. Конец романа уже виден, но, как ни странно, он не становится ближе. Я пишу о Лили на лужайке, но в последний раз или не в последний, не знаю. И еще я не уверена в качестве написанного; единственное, в чем я уверена, так это в том, что каждое утро, примерно на час выставляя шупальца в небо, я, как правило, пишу с жаром и легкостью до двенадцати тридцати; и таким образом заполняю две страницы. Итак, я закончу его, допишу, если ничего не изменится, за три недели, начиная с сегодняшнего дня.

5 сентября

Что получится? В настоящий момент я думаю о том, как добраться до конца. Проблема состоит в том, что надо свести Лили и мистера Р. вместе и в конце объединить их интересы. У меня сплошные идеи. Последняя глава, которую я начинаю завтра, называется «В лодке»: намереваюсь закончить гем, что мистер Р. карабкается на гору. А если так, что станется с Лили и ее картиной? Должна ли я написать финальную страницу о том, как она и Кармайкл смотрят на картину и обсуждают мистера Р? В этом случае я теряю в напряжении. А если сделать это между Р. и маяком, то получится, полагаю, слишком много перемен, волнений. Вводная главка? Чтобы читатель как будто читал одновременно о разных вещах?

Какое-нибудь решение наверняка найдется. А потом передо мной встанет вопрос качества. Думаю, роман должен быть очень динамичным, свободным и обязательно небольшим. С другой стороны, он кажется мне более утонченным и более человеческим, чем «Комната Джейкоба» и «Миссис Дэллоуэй». Внутри у меня богатство, вдохновляющее меня, когда я пишу. Полагаю, уже не требуется доказательств — то, что я хочу сказать, должно быть сказано именно так, и никак иначе. По обыкновению, в большом количестве проклевываются дополнительные сюжеты, когда я вытягиваю основной сюжет: книга персонажей; можно вытянуть целую нить из какой-нибудь простой фразы, например, Клара Пейтер говорит: «Вы не находите, что у булавок Баркер нет острых кончиков?» Думаю, я могла бы таким образом раскрутить все их кишки, но меня

останавливает безнадежное отсутствие драмы. Все это непря-
мая речь. Нет, не все. У меня есть несколько прямых фраз. Ли-
рическая часть романа «На маяк» собрана за десять лет проб
и ошибок и не мешает тексту в такой мере, как обычно. Я чув-
ствую, что на сей раз все замкнуто с предельной точностью,
и не представляю, какой будет критика. Сентиментальной?
Викторианской?

Потом примусь за книгу о литературе для «Пресс». Шесть
глав. Почему бы не сгруппировать идеи под каким-нибудь брос-
ким заголовком — например: «Символизм. Бог. Природа. Сюжет.
Диалог». Берем роман и смотрим, сколько у него полноправных
частей. Разделяем их и к каждой даем наиболее убедительные
примеры из соответствующих книг. Возможно, получится удачно
с исторической точки зрения. Можно раскрутить теорию, кото-
рая соединит главы. Но не думаю, что мне всерьез понравится на-
читывать для этого материал. Скорее, хочется рассортировать
идеи, которые аккумуляровались во мне.

Потом я намереваюсь написать серию «Очерков», чтобы за-
работать деньги (по новому соглашению мы должны делить все
деньги, которые я зарабатываю, если я зарабатываю больше
двухсот фунтов); что будет в «Очерках», зависит от того, какие
книги я буду читать. Кстати, я ужасно довольна в последние не-
сколько дней. И не совсем понимаю, почему. Возможно, причи-
на отчасти в моей голове.

Понедельник, 13 сентября

Настоящее блаженство, когда заканчиваешь работу; со сто-
ном говорю я себе. Похоже на долгий и довольно-таки болез-
ненный, но все же приятный и естественный процесс, который
очень хочется оставить позади. О, какое облегчение просыпаться
и думать о том, что все кончено, — облегчение и, наверное,
разочарование. Я говорю о романе «На маяк». Меня ожесточи-
ла необходимость на прошлой неделе в течение четырех дней
ковать де Куинси, который лежал примерно с июня; отказалась
от тридцати фунтов, чтобы писать о Вилле Кэтер; разделаюсь за
неделю со своим неприбыльным занятием и вернусь к незакон-
ченным вещам. Итак, к октябрю у меня должны быть мои семь-
десят фунтов из годовых двухсот. (Жадность моя безмерна, по-
тому что мне нужны личные пятьдесят фунтов в банке для по-

купки персидских ковров, посуды, стульев и так далее). Проклятый Ричмонд, Проклятый «Таймс», проклятые моя медлительность и мои нервы. Я сделаю Кобдена-Сандерсона и миссис Хеманс, однако и они сделают кое-что для меня. Теперь о книге — Морган сказал, что когда закончил «Поездку в Индию», то чувствовал: «Это про ват». А что чувствую я? Из-за постоянной работы на прошлой неделе, и на позапрошлой тоже, мне казалось, будто я немного выдохлась. Но чувствовала себя триумфаторшей. Если я правильно понимаю, то мне удастся применить свой метод на самом большом объеме, какой только возможен, и как будто метод выдержат. Под этим я подразумеваю, что все-таки вытащила на свет больше, чем нужно, чувств и персонажей. Пока об этом знает один Господь. Мои чувства переменчивы. Странно, как меня преследуют чертовы слова Джэнет Кейз: «Все это внешняя... техника» («Миссис Дэллоуэй»), «“Обыкновенный читатель” густо замешан». Но когда пребываешь в напряженном состоянии, любая муха имеет право сесть на тебя, и чаще всего садятся оводы. Мюир по-умному меня хвалит — но имеет сравнительно мало власти, чтобы поддержать меня, когда я работаю, то есть — когда возникают идеи. А последний кусок, в лодке, трудный, потому что мало материала, не то что Лили на лужайке. Мне приходится быть прямолинейнее и напористее. Я понимаю, что у меня теперь больше символизма; но «сентиментальность» наводит на меня ужас. Неужели это обвинение можно предъявить всей теме? Не уверена, что сама по себе тема может быть хорошей или плохой. Она лишь даст шанс выявить человеческие странности — вот и все.

Четверг, 30 сентября

Хотелось бы кое-что добавить по поводу мистической стороны волнения; это состояние похоже не на то, какое бывает, когда остаешься наедине сама с собой, а на то, какое наступает, когда остаешься наедине со Вселенной. Именно оно пугает и возбуждает, когда я попадаю во власть мрака, депрессии, скуки, чего хотите. Вдалеке виден плавник. Какой образ мне нужно придумать, чтобы выразить все до конца? Думаю, такого образа нет. Интересно, сколько я ни размышляла о своих чувствах и мыслях, прежде это никогда не приходило мне в голову. Если рассуждать здраво, жизнь странная штука; в ней есть спрессо-

ванная реальность. Я помню это привычное детское ощущение — один раз даже не могла переступить через лужу, потому что думала, как это странно — кто я? — и все в таком роде. И писательством я ничего не достигаю. Все, чего мне хочется, — увечить любопытное состояние ума. Рискую думать, это и есть импульс, толкающий меня к следующей работе. Сейчас мой разум совершенно чист и свободен от книг. Я хочу наблюдать, смотреть, как зарождается мысль. Хочу проследить шаг за шагом весь процесс.

Вторник, 23 ноября

Каждый день переделываю по шесть страниц романа «На маяк». Не так быстро, как, скажем, это было с «Миссис Дэллоуэй»; однако многое мне кажется поверхностным, и я импровизирую прямо на машинке. Так гораздо легче, чем переписывать. Сейчас у меня впечатление, будто это лучшая из моих книг: гораздо более полная, чем «Комната Джейкоба», и менее судорожная, в ней куда больше интересного, чем в «Миссис Д.», она не усложнена печальным аккомпанементом безумия. Полагаю, она свободнее и искуснее. Все же не представляю, кто мог бы пойти следом за мной; и это, верно, означает, что я довела свой метод до совершенства и он таким останется, служа мне везде, где будет в нем нужда. Развивающийся метод предоставлял моему взгляду новые объекты, и у меня была возможность рассказать о них. Но и тогда, и теперь меня преследует некая полумистическая, очень насыщенная жизнь женщины, которая должна быть рассказана на одном дыхании; времени не должно быть; будущее каким-то образом станет возникать из прошлого. Что-то — скажем, падение цветка — будет его определять. Моя теория бытия состоит в том, что реальное действие практически не существует — и время тоже не существует. Но я не хочу ничего форсировать. Надо писать как пишется, по порядку.

Пятница, 14 января

Это непорядок, но у меня нет новой тетради, поэтому придется писать в старой (в ней я писала о том, как начинала работать над романом «На маяк»), придется писать в старой тетради о конце работы. Только что завершила свой тяжкий труд. Теперь все готово, и Леонард начнет читать в понедельник. Итак, я написала роман за год без нескольких дней и чувствую радость от того, что выбралась из него. С 25 октября я переделывала и перепечатывала (некоторые места по три раза), и, несомненно, мне нужно было бы поработать еще, но я больше не могу. У меня ощущение твердой мускулистой книги, которое в данный момент свидетельствует, что у меня что-то есть за душой. Роман не истощился и не ослабел, по крайней мере, мне так не кажется, пока я не взялась его перечитывать.

Воскресенье, 23 января

Итак, Леонард прочитал «На маяк» и сказал, что, похоже, это моя лучшая книга и что это «шедевр». Я ждала, не говоря ни слова, после того как вернулась домой из Кноула. Он назвал роман совершенно новым — «психологической поэмой», так он назвал его. Шаг вперед по сравнению с «Дэллоуэй», гораздо интереснее. Ощувив великое облегчение, мой разум, как всегда, выключился, и я забыла обо всем, чтобы потом проснуться и вновь волноваться по поводу корректуры и публикации книги.

Суббота, 12 февраля

Проза Г.* слишком гладкая. Я читала ее, и мой карандаш бежал не останавливаясь. Когда я читаю классику, я обуздана, но не кастрирована; нет, совсем наоборот; не могу придумать

* Вероятно, речь идет о Томасе Гарди.

слово. Если бы я писала «У—», то бежала бы вон из луж с поддобной подкрашенной водичкой, чтобы (полагаю) найти собственный метод. Мое отличие как писателя, думаю, — ясность темы и точность ее выражения. Если бы я писала о путешествиях, то подождала бы, пока выявится некий угол зрения, и отправилась в этом направлении. Метод гладкописи неправильный; ничего гладкого не бывает даже в мыслях. Однако эта гладкопись очень умелая и сладкоголосая. Она побудила меня решить, что завтра и в понедельник я должна читать «На маяк» в отпечатанном виде, читать насквозь от начала до конца, руководствуясь собственными необычными методами, — это на первый раз. Я хочу для начала пройтись широко, а уж потом заняться деталями. Могу отметить, что первые симптомы, касающиеся романа «На маяк», неблагоприятные. Роджеру, это уже ясно, не понравилось «Время проходит»; «Харпере» и «Форум» отказались от своих «серийных» прав; Брейс пишет, как мне кажется, с куда меньшим энтузиазмом, чем о «Миссис Д.». Однако это относится к первому варианту, непереработанному. Я не реагирую: мнение Л. внушает мне стойкость; я спокойна.

Понедельник, 21 февраля

Почему бы не ввести новую игру, например:

Женщина думает...

Он делает.

Орган играет.

Она пишет.

Они говорят.

Она поет.

Ночь говорит.

Они скучают.

Думаю, в этом что-то есть, — хотя сама не знаю, что именно. Подальше от фактов; быть свободной; но сосредоточенной; проза и все же поэзия; роман и пьеса.

Понедельник, 28 февраля

Но я намереваюсь работать еще упорнее. Если почтенные люди — мои друзья — посоветуют мне не выпускать «На маяк»,

я начну писать мемуары; у меня уже есть план заполучить исторические манускрипты и написать «Жизнь неизвестных людей»; но почему я делаю вид, будто приму совет? Вот отдохну, и прежние мысли вновь, как всегда, вернуться ко мне; они, возможно, будут свежее и даже значительнее, чем прежде; а я опять выключусь из жизни, ощущая потрясающее возбуждение, жар и страсть творения, — и это странно, если то, что я пишу — почему бы и нет? — никуда не годится.

Понедельник, 14 марта

Фейт Хендерсон пришла к чаю; и, доблестно подталкивая волны беседы, я думала о возможностях непривлекательной, бедной, одинокой женщины. Начала воображать ее — как она останавливает автомобиль на дороге в Дувр, добирается до Дувра, пересекает Ла-Манш и так далее. Мне даже пришлось в голову, что я могла бы написать роман в стиле Дефо — ради смеха. Неожиданно между двенадцатью и часом я решила, что моя фантазия должна **называться «Невесты Джесса»** ми — ма не знаю почему. Слово лучом, я выхватила несколько сцен. Две женщины, бедные, одинокие, на крыше дома. Одна видит все (это же фантазия): мост Тауэра, облака, аэропланы. В своей комнате старик прислушивается к тому, что происходит снаружи. Все рушится в полной неразберихе. Это надо написать так, как я пишу письма, на предельной скорости; о дамах из Лланголлена*, о миссис Флэдгейт, о прохожих. Никакой попытки определить характер. Здесь чистый сапфизм**. Сатира должна выйти на первый план — сатира и необузданность. У дам в виду Константинополь. Мечты о золотых куполах. Мой лирический настрой должен перевоплотиться в сатиру. Насмешка над всем и всеми. Таким образом покончить с отточием.... вот.

По правде говоря, я ощущаю необходимость в подобной эскападе после всех своих серьезных поэтических экспериментальных книг, о форме которых мне приходилось очень серьезно думать.

От «Ораландо» к «Волнам» (8 июля 1933)

* «Дамы из Лланголлена» (1847) — сочинение Джона Хиклина (Прим. переводчика).

** Лесбиянство.

Мне хочется взбрыкнуть — и была такова. У меня огромное желание воплотить в слова бесчисленные идеи, коротенькие сюжеты, которые постоянно мелькают у меня в голове. Наверное, это было бы очень забавно; и голова у меня отдохнула бы перед серьезной, мистической, поэтической работой, за которую я хочу взяться. Тем временем, прежде чем взяться за «Невест Джессами»*, надо написать книгу о литературных произведениях, но это я сделаю, полагаю, не раньше января. Правда, можно было бы пока писать страничку-две ради эксперимента. И не исключено, что идея испарится сама собой. В любом случае, эта запись отражает странное, ужасное, неожиданное самосотворение чего-то непредвиденного — одного за другим в течение часа. Так я придумала «Комнату Джейкоба», глядя на огонь 15 Хогарт-хаус; и так же придумала как-то вечером «На маяк», но уже здесь, на площади.

Понедельник, 21 марта

Мои мысли невероятно активны. И мне невтерпеж приняться за писание книг, как будто я теряю время, ведь есть старость и смерть. Боже мой, как чудесны некоторые места в моем «Маяке»! Нежные, легкие и, как мне кажется, глубокие, и ни одного неправильного слова на протяжении многих страниц. Так я воспринимаю обед и детей в лодке; а вот с Лили на лужайке не так. Это мне не очень нравится. Зато мне нравится конец.

Воскресенье, 1 мая

Я запомню, как книга выходит в свет. Будут говорить, что у меня много не относящегося к делу, — много чего наговорят. Но я, если честно, думаю, что на этот раз мне почти все равно — мне безразличны даже мнения моих друзей. Не уверена, что это хорошо; я была разочарована, когда в первый раз читала роман насквозь. Потом он мне понравился. Как бы то ни было, это лучшее, на что я была способна. Стоит ли читать свои книги, когда они выходят из печати, да еще критически? Меня поддерживает то, что, несмотря на непонятность, искусственность и так далее, число раскупаемых книг растет постоянно. Мы уже продали — до выхода в свет — 1220 экземпляров, и я уверена,

* Возможно, роман Фрэнка Франкфорта Мура (1855—1931).

продадим не меньше 1500, что для такого писателя, как я, совсем неплохо. И все же, доказывая свою искренность, я ловлю себя на мыслях о других вещах, и меня вовсе не волнует, что будет в четверг.

Четверг, 5 мая

Книга вышла*. Мы продали (насколько я знаю) 1690 экземпляров еще до получения тиража — вдвое больше, чем «Миссис Дэллоуэй». Пишу, однако, под тенью черной тучи, то есть рецензии в «The Times Lit. Sup.», которая в точности копирует рецензии на «Комнату Джейкоба» и «Миссис Дэллоуэй», — джентльменской, добродушной, робкой, хвалящей за красоту стиля, сомневающейся в персонажах и нагоняющей на меня умеренное уныние. Меня беспокоит «Время проходит». Думаю, это можно сделать мягко, поверхностно, скучно и сентиментально. Все же, если честно, мне все равно, пусть меня оставят в покое и дадут возможность поразмышлять.

Среда, 11 мая

Моя книга. Что толку повторять о своем безразличии к откликам, когда искренние похвалы, даже вперемежку с критикой, вливают силы — и перестаешь ощущать себя иссякшей, наоборот, снова бурлишь новыми идеями? Из смутных намеков, через Марджери Джоад, через Клайва, узнаю, что некоторые считают это моей лучшей книгой. Вита хвалит; Долли** в восторге; неизвестный осел тоже пишет. Думаю, никто еще не дочитал роман до конца; а я еще две недели буду не в радостном, а в беспокойном ожидании, когда же наконец все закончится.

Понедельник, 16 мая

Книга. Теперь она на своих ногах, по крайней мере, что касается похвал. Уже десять дней, как она вышла в свет: в позапрошлый четверг. Несса отзывается с энтузиазмом — величественное и почти печальное зрелище. Говорит, что это потрясающий портрет мамы; великолепная портретистка; вжилась; для нее оживление умершей почти болезненное. Потом Оттоллин, по-

* Роман «На маяк».

** Дороти Уэллсли.

том Вита, потом Чарли, потом лорд Оливье, потом Томми, потом Клайв.

Суббота, 18 июня

Эта тетрадка почему-то очень тонкая. Прошла только половина года, а осталось всего несколько страничек. Возможно, я слишком усердно писала в ней по утрам. За три недели головной боли как не бываю. Мы провели неделю в Родмелле, и у меня в памяти остаются разные виды, неожиданно разворачивавшиеся передо мной (например, приморская деревня июньской ночью с домами, словно корабли; горячий дым с болота), а еще немислимое удовольствие лежать там в полном покое. Я целыми днями лежала в новом саду, где терраса. Она уже достроена. Синие синички устроили гнездо в полой шее моей Венеры. Один раз, в очень жаркий день, приехата Вита, и мы с ней отправившись к реке. Пинкер* уже плавает за палкой Леонарда. Я читаю — все, что попадает под руку; Мориса Бэринга; спортивные мемуары. Очень медленно, но начинают появляться идеи; а потом я вдруг разразилась (в тот вечер, когда Л. обедал с Апостолами) историей мотыльков, которую, мне кажется, напишу очень быстро, возможно, между главами длинной надвигающейся книги о литературе. Теперь мотыльки, полагаю, облепят скелет, который я бросила здесь; идея поэмы-драмы; идея бесконечного движения не только человеческой мысли, но и корабля, ночи и так далее, но чтобы они все двигались вместе; и в этот поток врывались яркие мотыльки.

«Волны»

Мужчина и женщина должны сидеть за столом и разговаривать. Или они молчат? Нужна любовная история; в конце она впускает в дом самого большого мотылька. Контрасты должны быть примерно такими: она говорит или думает о возрасте земли; о смерти человечества; а мотыльки продолжают прилетать. Возможно, мужчину стоит оставить как бы в тумане. Франция: слышно море; ночь; сад под окном. Однако это еще должно созреть. Я немного занимаюсь этим романом по вечерам под исполняемые на граммофоне поздние бетховенские сонаты. (Окна рвутся с задвижек, словно мы на море.)

* Спаниель.

Мы видели Виту, открывающую Готориден*. Ужасное представление, на мой вкус: на возвышении никого из дворян — лишь Сквайр, Дринкуотер и Биньон — из всех нас; болтливые писаки. Господи! До чего же жалкими мы выглядели! Мы не могли делать вид, будто интересны кому-то, будто наша работа что-то значит. Само сочинительство вдруг стало бесконечно противным. Там не было никого, о ком я могла бы сказать, что он читал и ему понравилось или не понравилось написанное мной. Никому не было дела до моей критики; умеренность и обыкновенность авторов потрясли меня. Однако, возможно, движение чернил в них интереснее, чем внешний вид — аккуратный, умеренный, пристойный. Я чувствовала, что среди нас нет ни одного человека со зрым умом. По правде говоря, это был непробываемо скучный средний класс от литературы, а не ее аристократия.

Среда, 22 июня

Меня приводят в уныние люди, ненавидящие женщин, а Толстой и миссис Асквит — оба ненавидят женщин. Думаю, моя депрессия — форма тщеславия. В конце концов, таковы крайние мнения обеих сторон. Я ненавижу жесткий догматический пустой стиль миссис Асквит. Но хватит: о ней я буду писать завтра. Я каждый день пишу о чем-нибудь и по доброй воле посвятила несколько недель деланию денег, чтобы к сентябрю положить в наши карманы по пятьдесят фунтов. Это будут мои первые собственные деньги с тех пор, как я вышла замуж. Но у меня никогда, до последнего времени, не было в них нужды. Ведь я могу получить их, если захочу, и уклониться от писания ради денег.

Четверг, 23 июня

Этот дневник подтверждает, что в последнее время я почти не участвую в светской жизни. Никогда еще мне не приходилось так тихо проводить лондонское лето. На редкость легко ускользнуть из толкотни незамеченной. Все знают, что я инвалид, и никто меня не тревожит. Никто не просит что-нибудь сделать.

* Вручение литературной премии в честь шотландского поэта Уильяма Драйликонда из Готоридена (1585—1649), учрежденной в 1919 г. (*Прим., переводчика.*)

Я тщеславно лелею чувство, будто это мой собственный выбор; ведь нет большей роскоши, чем хранить покой в самом сердце хаоса. Когда я с кем-то разговариваю и напрягаю мозги, потом у меня весь день угнетенное состояние и болит голова. Тишина дарит мне спокойные безмятежные быстрые утра, когда я делаю основную работу и проветриваю мозги во время прогулок. Вот уж отпраздную победу, если сумею этим летом ускользнуть от головной боли.

Четверг, 30 июня

Теперь я должна рассказать о Затмении.

Во вторник около десяти часов вечера несколько очень длинных поездов, полностью заполненных (наш — государственными служащими), покинули Кингс-Кросс. В нашем отделении были Вита, Гарольд, Квентин, Л. и я. Полагаю, это Хэтфилд, сказала я, куря сигару. Потом опять, это Питерборо, сказал Л. Пока не стемнело, мы не сводили глаз с нежно-бархатистого неба; одна звезда была над Алекзандр-парк. Смотри, Вита, Алекзандр-парк, сказал Гарольд. Николсоны задремали; Г. свернулся к тапачиком и положил голову Вите на колени. Она же, спящая, смотрелась как лейтоновская Сапфо; мы ехали дальше по центральным графствам Англии; сделан и очень долгую остановку в Йорке. В три часа достали сэндвичи, и когда я вернулась из туалета, оказалось, что у Г. исчезло все масло. Потом он разбил фарфоровую коробочку для сэндвичей. Тут Л. стал смеяться и никак не мог остановиться. Потом мы опять спали, то есть спали Н. На железнодорожном переезде было много omnibusов и автомобилей, все с включенными бледно-желтыми фарами. Небо серело — но было бархатистым. В Ричмонд мы прибыли в три тридцать; было холодно, и Н. поссорились, как сказал Эдди, из-за багажа Виты. Мы забрались в машину и увидели большой замок (кто это делает, сказала Вита, принадлежит к тем, кто интересуется замками). На фасаде было лишнее окно и горел свет, как мне показалось. На дугах росла молоденькая июньская травка и растения с красными кисточками, которые казались белыми, а не красными. Белыми или серыми были и маленькие бескомпромиссные йоркширские фермы. Когда мы миновали одну, из дома вышли фермер с женой и сестрой в аккуратных черных платьях, словно они собра-

лись в церковь. На другой уродливой квадратной ферме две женщины выглядывали из верхних окон, наполовину закрытых белыми ставнями. Мы представляли караван из трех больших машин, и одна остановилась, пропуская другие вперед; они были низкие и мощные; им предстояло одолеть очень крутые горы. Водитель вышел из машины и положил небольшой камень под колесо, но его оказалось недостаточно. Слава Богу, не случилось несчастья; ведь следом двигалось еще много машин. Их стало еще больше, когда мы взобрались на вершину Бардон-Фелл. Приехавшие разбивали палатки рядом с автомобилями. Мы вышли и обнаружили, что находимся очень высоко на пустоши с заросшими травой дорогами, где собралось уже довольно много народа. Мы присоединились к остальным, как оказалось, на самом высоком месте, с которого открывался вид на Ричмонд. Внизу горел один фонарь. Повсюду нашим глазам открывались долины и пустоши. Мне вспомнился Хейворт. Над Ричмондом, где поднималось солнце, висело пушистое серое облако. По пробивающемуся сквозь него золотому пятну мы легко определили его положение. Однако еще было рано. Пришлось ждать, притоптывая, чтобы не замерзнуть. Рэй вернулась в двуспальное одеяло с синими полосами. Она выглядела очень большой и домашней. Саксон постарел на глазах. Леонард все время смотрел на часы. Четыре огромных рыжих сеттера появились, прыгая, на пустоши. Они сторожили кормившихся неподалеку овец. Вита попыталась купить морскую свинку — Квентин посоветовал дикую, — и она посматривала на животных. В облаках наметились узкие трещины и довольно большие дыры. Вопрос заключался в том, увидим мы затмение солнца через облако или на чистом небе. Нас охватило возбуждение. Из-под облаков показались солнечные лучи. Потом, всего мгновение, мы видели солнце — казалось, оно быстро и без помех плывет в бездне; мы схватились за специальные очки; мы видели горящий огнем серп; в следующий момент оно опять зашло за облако; от него остались лишь красные ленты; потом золотистый туман, который случается довольно часто. Шло время. Мы решили, что нас обманули; посмотрели на овец; они не выказывали страха; вокруг бегали сеттеры; люди стояли длинными шеренгами и с чувством собственного достоинства смотрели вверх. Мне показалось, что мы — древние люди, свидетели

рождения мира — друиды из Стоунхенджа (правда, эта мысль стала ярче, когда появился первый бледный свет). За нашими спинами в облаках прятался беспредельный синий простор. Все еще синий. Потом он как будто начал линять. Облака бледнели; стали красновато-черного цвета. Внизу, в долине, начатась потрясающая битва красного и черного цветов; все так же горел один фонарь; все было затянуто облачной пеленой, очень красивой, с тонкими прожилками. Сквозь нее мы не могли ничего разглядеть. Миновати двадцать четыре секунды. Все обернулись посмотреть на синее небо; и очень быстро, на самом деле очень-очень быстро, цвета потускнели; стало темнеть; и темнело, словно перед сильной бурей; свет тонул и тонул; мы повторяли — это тень и думали, что все закончилось, — это тень; когда неожиданно света не стало. Мы сникли. Солнце погасло. Стояла сплошная тьма. Земля была как мертвая. Удивительное мгновение, и следующее тоже, а потом, словно отвязался шар, облако опять обрело цвет, искрящийся небесный цвет, и опять стаю светло. У меня появилось, когда стемнело, очень сильное чувство благоговения, я словно упала на колени, но вскочила, когда краски вернулись.

Несколько мгновений цвета были на редкость прекрасны — свежие, разные: здесь синий, там коричневый; все яркие, словно отмытые.

Они вернулись удивительно яркими и прекрасными и в долине, и над холмами — поначалу волшебной, мерцающей, небесной голубизной, а потом почти нормально-земными оттенками, даря великое облегчение людям. Это походило на выздоровление. Нам было гораздо хуже, чем мы ожидали. Мы видели мертвый мир. Ощутили власть природы. Наше величие тоже было очевидно. Мы вновь стали — Рэй в одеяле. Саксон в кепи и так далее. Нам было ужасно холодно. Я бы сказала, холод усиливался по мере того, как гас свет. И мы очень сердились. И так — все кончено до 1999 года. Осталось приятное чувство — есть много света и цвета, то есть того, к чему мы привыкли. Некоторое время это радовало. А потом, когда все вернулось на круги своя, люди потеряли ощущение легкости и отсрочки, которое охватило нас всех, когда после тьмы вновь вернулся свет. Как мне выразить тьму? Это было словно внезапное погружение в воду, когда его совсем не ожидаешь; существование по ми-

лости небес; наше благородство; друиды; Стоунхендж; бегающие рыжие псы; все это было в мыслях. А еще меня волновало то, что я покинула лондонскую гостиную и нахожусь на дикой английской пустоши. Насчет остального помню лишь, как старалась не заснуть в Йорке, пока Эдди говорил и говорил, прежде чем заснул сам. В поезде опять спали. Из-за духоты мы были потные. Оказалось, у нас много вещей. Гарольд был добрым и внимательным. Эдди брюзгливым. Он сказал, что ростбиф и яблочный пирог очень толстые. Домой мы вернулись примерно в половине девятого.

Вторник, 18 сентября

Я написала бы тысячу вещей, будь у меня время и силы. Пишу совсем немного, но на большее не способна.

Лотон-плейс и смерть Филипа Ритчи*.

Вот как все было. Десять дней назад приехала Вита, и мы отправились в Лотон; я ворвалась в дом и не могла им налюбоваться. Наверное, свою роль сыграло солнечное утро, на редкость прекрасное и спокойное; в доме как будто бесконечная анфилада старых комнат. Я вернулась домой, разгоряченная мыслью купить дом; мое возбуждение передалось Леонарду, так что он написал фермеру, мистеру Расселлу, и, тоже возбужденный, словно на иголках, стаз ждать ответа. Мистер Расселл приехал к нам через несколько дней, и мы уговорились еще раз посмотреть дом. Все было как будто улажено, но тут я открываю «Морнинг пост» и читаю о смерти Филипа Ритчи. «Бедняжка Филип, ему больше не нужен дом», — подумала я. А потом появились обычные образы. Мне втемяшилось в голову, что эта смерть превратила меня в старую колоду; я решила, что у меня нет права жить; словно моя жизнь продолжалась за его счет. Я не была с ним доброй — не приглашала к обеду... Итак, два чувства — покупка дома и его смерть — боролись друг с другом; то побеждал дом, то побеждала смерть; когда же мы поехали поглядеть на дом, то он показался нам невыразимо ужасным; осыпающийся, в заплатках, гниющий дуб, серая бумага; сырой сад с ярко-красным коттеджем в глубине. Я отметила, что силь-

* Сын лорда Ритчи.

ные яркие чувства вдруг поблекли и испарились. Начинаю забывать Филипа Ритчи.

На днях напишу тут большую историческую картину составив ее из портретов моих друзей. Ночью, в постели, я размышляла об этом, и почему-то мне пришло в голову начать с Джеральда Бренана. Что-то в этом есть. Мемуары о своем времени через еще живых людей. Может получится очень интересная книга. Вопрос в том, как ее писать. Вита станет Орландо, юным аристократом. Литтон тоже будет; книга должна быть одновременно правдивой и фантастической. Роджер, Дункан, Клайв, Адриан. Все связаны между собой. Однако я позволяю себе размышлять о куда большем количестве книг, чем мне наверняка удастся написать. В голове полно сюжетов! Например: Этель Сэнде не читает полученных писем. Из этого можно много извлечь. Можно написать книгу с короткими, но важными и не зависимыми друг от друга сценами. Она не вскрывает письма.

Вторник, 25 сентября

На другой стороне наметки для Шелли, думаю, ошиблась тетрадами.

Теперь позволю себе стать историографом Родмелла.

Тридцать пять лет назад здесь жили сто шестьдесят семей, а сейчас осталось не больше восьмидесяти. Деревня приходит в упадок, потому что молодые люди бегут в город. Ни одного из мальчишек, как сказал преподобный мистер Хоксфорд, здесь не учат пахать. Крестьянские дома за баснословные деньги покупают богатые люди, у которых нет загородных домов для уикендов. Монкс-хаус был предложен мистеру Х. за 400 фунтов; мы дали семьсот. Он отказался под тем предлогом, что не хочет иметь загородный дом. Теперь мистер Аллисон заплатит 1200 фунтов за два дома, а мы, как он говорит, могли бы получить за свой дом 2000 фунтов. Он (Хоксфорд) — больной старик — опустившийся. Его цинизм, который придает простым затертым изречениям забавный поворот, развлекает меня. Он тонет в старости, неопрятный, с развинченной походкой, всегда в черных шерстяных варежках. Его жизнь отступает, как отлив, медленно; еще его можно представить догорающей свечой, фитилек скоро утонет в теплом сале, и свеча погаснет. Если поглядеть на него, то он напоминает старую птицу; маленькое, с мелкими

чертами лицо, тяжелые веки прикрывают дымчатые блестящие глаза; у него все еще румяные щеки; но борода — словно заброшенный сад. Редкие волосы покрывают щеки, и две полоски, будто нарисованные карандашом, лежат на облысевшем черепе. Он погружается в кресло и рассказывает старые деревенские истории, в которых всегда есть некоторый насмешливый оттенок, как будто, совершенно не тщеславный и не очень удачливый, он компенсирует свои недостатки, смеясь над здравомыслием более энергичных людей. Расходы, которые неизбежны для мелькающих новичков, обихаживающих поля и фермы, вызывают у него сардонический смех. Сам он и пальцем не шевелит; любит индийский чай, предпочитая его китайскому, и не очень-то заботится о чужом мнении. Курит сигарету за сигаретой, и руки у него не отличаются чистотой. Говоря о своем колодце, он сказал: «Совсем другое дело, будь у меня ванна». А все свои семьдесят лет он обходился без нее. Ему нравится всерьез рассуждать о лампах «Аладдин», например, и как ректор в Ифорде приспособливает круглую лампу «Веритас», что дешевле, к работе. Лампа «Аладдин» стоит 2 шиллинга и 10 пенсов. Но она быстро чернеет, и ее приходится выкидывать. Перегнувшись через ограду, оба ректора беседовали о лампе. Или он дает советы насчет строительства гаража: Перси, мол, выроет яму, а потом старик Фиарс укрепит стены цементом. Именно это он советовал; и я могу только предположить, какой кусок своей жизни он провел, беседуя с Перси и Фиарсами о цементе и ямах. Что касается его священнической сути, то ее почти не разглядеть. Он не купил бы Боуэн* школу верховой езды, сказал он; а ее сестра купила. Он же в это не верит. У сестры школа в Роттингдине, двенадцать лошадей, она нанимает конюхов и сама все дни работает, включая воскресенья. Однако, высказав свое мнение на семейном совете, он не пошел дальше этого. Миссис Х. поддержит Боуэн. Она выбрана свой путь. А ректор будет сидеть в своем кабинете и, Бог знает, чем заниматься. Я спросила его, не надо ли ему работать: и мой вопрос немного удивил его. Дело не в работе, сказано он; у меня беседа с молодой женщиной. Потом он вновь уселся в кресло и провел в нем часа полтора.

* Мисс Хоксфорд.

Среда, 5 октября

Я пишу в атмосфере отвратительной ночлежки из-за приближающегося отъезда. Линкер спит в кресле; Леонард подпихивает щеки, сидя за маленьким столиком под ярко пылающей лампой. В камине полно золы, потому что он горел целый день, а миссис Б. его не чистит. Конверты лежат на решетке. Я пишу ручкой, тонкой ломкой ручкой; а вечер, кстати, великолепный, с красивым закатом.

Вчера мы отправились в Эмберли, думая купить там дом. На удивление забытое и прекрасное место в краю лугов и холмов. Мы оба очень разволновались, это в наши-то годы.

Но мы не такие старые, как миссис Грей, которая пришла поблагодарить нас за яблоки. Она никогда их не покупает, и это похоже на попрошайничество, ибо мы не берем деньги. Все лицо у нее в глубоких морщинах, словно ее исполосовали прутом. Ей восемьдесят шесть лет, и она не упомнит такого лета. Когда она была молодой, в апреле довольно часто стояла такая жара, что невозможно было укрываться даже простынями. Ее юность, по-видимому, пришлась на то же время, что и юность моего отца. Она на девять лет моложе, как я выяснила; родилась в 1841 году. Интересно, что она помнит о викторианской Англии?

Я могу сочинять ситуации, но не могу — сюжеты. Это значит: если я прохожу мимо хромой девушки, то могу, не особенно задумываясь, вообразить сцену (сейчас я не могу придумать ни одной). Это зародыш того литературного дара, который у меня есть. Кстати, я получаю письмо за письмом о своих книгах, но они меня почти не радуют.

Если ручка не подведет, то попытаюсь составить рабочий план, ибо закончила последнюю статью для «Трибюн» и опять свободна. И тотчас волнующие образы заполняют мои мысли: биография, которая началась в 1500 году и продолжается до сегодняшнего дня, под названием «Орландо»: Вита; разве что, как мне кажется, стоит ради удовольствия менять ей пол; пожалуй, я позволю себе набросать кое-что за неделю, пока...

Суббота, 22 октября

О книге, которую я пишу после чая, кажется, я уже говорила прежде. Голова у меня полна идей, но я потратила их на моих пламенных обожателей мистера Ашкрофта и мисс Финдлейтер.

«Пожалуй, я позволю себе набросать кое-что за неделю» — я не сделала ничего, ничего, ничего за две недели; и теперь принимаюсь, в какой-то мере скрытно, но с тем большей страстью, за «Орландо». Биографию. Это будет небольшая книжка, и я напишу ее к Рождеству. Мне кажется, я смогу сделать ее Художественной; когда голова горит, ее уже не остановить: я брожу и сочиняю на ходу фразы; сижу и придумываю сцены; то есть я в гуще известного мне восторга, какого не ощущала с февраля, а то и дольше. Разговоры о будущей книге, ожидание идей! Апотом начнется спешка; я сказала, что мне надо успокоиться, ибо мне осточертело заниматься критикой и читать невыносимо скучную Прозу. «Ты напишешь страничку ради удовольствия; остановишься ровно в половине двенадцатого, а потом опять примешься за Романтиков». У меня почти не было представления о том, во что выльется эта история. Однако мне стало легче, когда удалось занять ею свой мозг, настолько легче, что я почувствовала себя счастливой, чего со мной не случалось уже несколько месяцев; словно меня положили на солнце или на мягкие подушки; через два дня я полностью забыла о своих планах и погрузилась в несказанное удовольствие сочинять мой фарс; я наслаждаюсь им так, как еще никогда не наслаждалась; и дописалась до того, что у меня почти началась головная боль, пришлось остановиться, словно уставшей лошади, и выпить на ночь снотворное; из-за этого наш завтрак был испорчен. Я не доела яйцо. «Орландо» пишу в несколько ироничном стиле, но просто и ясно, чтобы читатели поняли каждое слово. Однако стараюсь точно соблюсти равновесие правды и фантазии. В основе всего Вита, Вайолет Трефузис, лорд Ласцеллс, Кноул и так далее.

Воскресенье, 20 ноября

Пожалуй, пора урвать момент от того, что Морган называет «жизнью», и кое-что по-быстрому записать. В последнее время заметок немного; у нас водопад, лавина, ураган; все вместе. Думаю, в целом, это наша самая счастливая осень. Много работы; есть успех; жизнь легка; что еще надо? Мои утра торопливые, суетливые от десяти до часу. Я пишу так быстро, что до ланча не успеваю перепечатать написанное. Думаю, главное в этой осени — «Орландо». Я как-то не чувствую ничего особенного, разве что раз-два, по утрам, когда писала критику. Сегодня начала

третью главу. Научилась ли я чему-нибудь? Наверное, тут слишком много от шутки; однако мне нравятся простые предложения; и, для разнообразия, внешний вид. Конечно же, он жидковат; нет цельного полотна; но я закончу вчерне к седьмому января (наверное), а потом буду переписывать.

Среда, 30 ноября

Торопливо пишу о ланче, Л. обедал в «Краниум». Искусство легкой беседы; о людях. Боги Харрис*; Морис Бэринг. Б. Х. «знает» всех; то есть никого. Фредди Фоссл? О да, я знаком с ним; знаком с леди такой-то. Со всеми знаком: не может признаться, что с кем-то не знаком. Начищенный, отполированный завсегдашай обедов — римский католик. В середине мистер М.Бэринг говорит: «Леди Б. умерла сегодня утром». Сибил просит: «Повторите еще раз». — «Но вчера она обедала с Р. М.», — говорит Боги. «В газетах есть сообщение о ее смерти», — сообщает М. Б. Сибил говорит: «Но ведь она еще совсем молодая. Лорд Айвор просил меня встретиться с молодым человеком, за которого его дочь должна была выйти замуж». — «Я знаком с лордом Айвором», — говорит или должен сказать Боги. «Странно это», — замечает Сибил, оставляя попытку во время ланча осознать смерть юной девушки. Потом речь зашла о париках: «Для леди Чарли парик завивает палубный матрос, прежде чем она встает с кровати, — говорит Боги. — О, я знаком с ней всю жизнь. Плавал на их яхте. Леди... — Он затрудняется продолжать, и у него брови лезут на лоб от напряжения. — Сэр Джон Кук был таким толстым, что его приходилось на руках втаскивать вверх. Однажды ночью он упал с кровати и пролежал на полу пять часов — не мог подняться. Б. М. прислал мне с официантом грушу и длинное письмо». Разговоры одомах и временах. Очень гладкие и поверхностные разговоры: в основном знакомство с разными людьми, а не интересная информация. У Боги каждый день горят уши.

Вторник, 20 декабря

Сегодня как будто самый короткий день и, возможно, самая холодная ночь в году. Мыв самом сердце жуткого мороза. Я вижу черные атомы в чистом воздухе, но, не знаю поче-

* Возможно, один из владельцев компании «Харрис Пресс Компани».

му, никогда не смогу описать их так, чтобы мне самой понравилось. Тротуар был весь в белом блестящем снегу веч, когда я возвращалась с Роджером и Хелен; когда в воскресенье я в последний раз была у Нессы — в последний раз юсь, на много месяцев. У меня, как всегда, «нет времени» пожалуй, сегодня вечером, пока Леонард на лекции, а Пекер спит в кресле, мне пора подсчитать, сколько и чего должна сделать. Я должна прочитать рассказ Бейджнел, пьесу Джулиана, письма лорда Честерфилда; написать Бертру (о чеке из «Нейшн»). У меня в голове иррациональная шкала ценностей, которая ставит эти долги выше обычных отписок.

Вот что пришло мне на ум вечером на детском празднике у Нессы. Маленькие существа тронули меня до слез. Анника уже почти взрослая и собранная, вся в сером и сером; женственность в миниатюре; еще не раскрывшаяся почка разума и чувств; на ней был серый парик и платок та морской волны. Все же очень странно, что я почти не думаю о собственных детях. Вместо этого ненасытное желание успеть написать что-нибудь, прежде чем я умру; разрушительное ощущение быстротечной и лихорадочной жизни ставляет меня, как человека на скале, крепко держаться за свой камень. Мне не нравится неизбежно физическая связь с собственными детьми. Это пришло мне в голову в Родмелле; однако я никогда не буду об этом писать. Если по правде, я могу представить себя матерью. Возможно сама подсознательно убила в себе материнское чувство или это сделала природа.

Все еще пишу третью главу «Орландо». Естественно, уже не закончить его к февралю и не выпустить весной — лучается не так быстро, как я предполагала. Только что снимала сцену, в которой О. встречается с девушкой (Не в Парке и идет с ней в комнатушку на Джеррард-стрит, она открывается ему. Они разговаривают. Речь идет о незначности женской любви. Ночная жизнь О.; ее клиент (вот нужное слово). Потом она встречается с доктором Джонсоном и, возможно, что-то пишет (мне хочется написать способ и процитировать) Всем Дамам. Итак, я извлеку парус из пролетающих лет; там будет описание горящих ф

рей восемнадцатого столетия и плывущих облаков девятнадцатого столетия. Потом будет само девятнадцатое столетие. Но об этом я еще не думала. Я хочу написать все быстро, как бы на одном дыхании, что для этой книги очень важно. Она должна быть полусмешной-полусерьезной; с яркими всплесками преувеличения. Возможно, я наберусь мужества и попрошу «Таймс» о прибавке. Если бы я могла писать только для моего «Эннюал», то не писала бы больше ни для одной газеты. Каким же в высшей степени нежеланным, но уверенным в своем праве на существование появился этот «Орландо»! Он все отодвинул, чтобы родиться на свет. Оглядываясь на март, я вспоминаю — он был тогда только в моем воображении, ничего реального, придуманный мною как шальная шутка; дух — сатирический, структура — как придется. Так и было.

Да, я повторяю, очень счастливая, на редкость счастливая осень.

Четверг, 22 декабря

Открываю тетрадь на минутку, от уныния, чтобы всерьез отругать себя. Значение общества в том, чтобы унижить или осадить кого-то. Я показушница, серость, врунья; у меня появляется привычка к бахвальству. Как будто блеснула вчера вечером у Кейнсов. Но я была не в настроении и сама понимала прозрачность своих высказываний. Дэди правильно говорит: когда В. позволяет своему стилю взять над собой верх, все только о нем и думают; когда она пользуется клише, все размышляют, что бы это значило. Но, говорит он, я не владею логикой, поэтому живу и пишу, как в опиумном сне. И сон этот слишком часто обо мне самой.

Теперь, когда я уже дожила до среднего возраста, очень важно жестоко пресекать подобные ошибки. Мне легко стать бездумной эгоисткой, требующей комплиментов, высокомерной, ограниченной, поблекшей. Дети Нессы (я всегда сравниваю себя с ней и нахожу, что она лучше и человечнее меня) относятся к ней с обожанием, в котором нет места зависти; они сохранили что-то из того детского чувства, которое объединяло нас с ней против всего мира; и теперь я горжусь ее триумфальными победами во всех наших битвах;

она с таким бесстрашием и такой скромностью, почти не объявляя о себе, добивается очередной цели, окруженными своими детьми; и лишь некая сверхнежность (трогательная черта) выдает, что она тоже радуется и удивляется, как пройдя через столько ужасов и печалей, сохранила...

Сны слишком часто рассказывают мне обо мне самой. Чтобы исправить это, забыть о своей нелепой никчемности личности, отречься от нее, надо читать; видаться с людьми; больше думать; писать, подчиняясь логике; главное — читать и работать; и соблюдать анонимность. Молчать на людях; быть тихоней, не демонстрировать; жить «под лекарством», как говорят врачи. Пустенькая вечеринка была в... И все-таки здесь очень неплохо.

Вторник, 17 января

Вчера были похороны Гарди. О чем я думала? О только что полученном и прочитанном письме Макса Бирбома; о лекции в Ньюхеме о женской литературе. В перерывах, конечно же, возникали какие-то чувства. Но сомневаюсь в способности зверя разумного быть облагороженным церемониями. Некто наблюдает за тем, как хмурится и дергается епископ; его внимание привлекает епископский блестящий нос; он предполагает при творство в возвышенном молодом священнике-очкарике, который не сводит глаз с креста в своих руках; ловит отсутствующий измученный взгляд Роберта Линда; потом размышляет о заурядности Г.; гроб очень большой, словно сценический, покрытый белым атласом; его несут пожилые мужчины, их четверо, они красные и напряженные; снаружи летают голуби, свет искусственный и недостаточный; процессия движется в уголок поэтов; драматическое «на вечность уповая» звучит несколько мелодраматически. Литтон после обеда у Клайва заявил, что романы великого человека хуже самых худших и он был не в силах их прочитать. Литтон сидит или лежит не двигаясь, с закрытыми глазами, а когда открывает их, то сердится. Леди Стрэчи медленно угасает, но так может продолжаться еще многие годы. Над всем этим витает ощущение неприятных перемен, нашей смертности и расставаний в смерти; и еще ощущение моей славы — почему вдруг? — и ее отдаленности; необходимости написать две статьи — одну о Мередите, другую, посмертную, о Гарди. Леонард сидит дома и читает. Письмо от Макса; и ощущение тщеты.

Суббота, 11 февраля

Мне так холодно, что я с трудом удерживаю ручку в пальцах. Тщета — на этом я закончила; но все же почувствовала, что буду,

должна еще что-то написать. Гарди и Мередит вместе у меня с головной болью в постель. Теперь мне известно, что такое чувство, когда я не могу развернуть фразу и сижу, что-то м и мне ничего не приходит в голову, а мозги напоминают закрытое окно. Итак, я заперла дверь в студию и отправилась в постель, закрыв уши, чтобы ничего не слышать; так я пролежала или два. Сколько же лиг я одолела за это время! Какие «ощущения» не были в позвоночнике и голове, стоило дать им волю — преувеличенная усталость; злость и отбожественная легкость и покой; а потом опять мука. Никогда ни один человек на свете не ощущает такого парения и падения из-за своей плоти. Но все; хватит...

Сама не знаю зачем, я вяло перечитываю последнюю главу «Орландо», которая должна была стать лучшей. Всегда последняя глава ускользает от меня. Усталость. Опустошенность. Все же надеюсь, еще подует свежий ветерок, и не беспокоюсь, разве что не *испытываю той радости, которой так расточительно наслаждалась в октябре, ноябре и декабре*. Почему появились сомнения, а вдруг в романе ничего нет? С фантастично писать такое.

Суббота, 18 февраля

Сейчас надо пересмотреть лорда Честерфилда, но я не могу. Мои мысли витают вокруг «Женщин и художественной культуры». Эту лекцию я буду читать в Ньюхеме в мае. Из насекомых, летающих и порхающих, самое капризное — р. Рассчитывала вчера быстренько переписать лучшие страницы в «Орландо» — и ничего, увы, не получилось из-за обычных физических недомоганий, которые мешают мне и сегодня. Чувствую странное чувство; словно палец пережал поток идей в мозгу, а ведь он не запечатан и кровь течет по жилам. Вот опять такое, чтобы писать «О.», я скачу то туда, то сюда по полдня лекции. Завтра, увы, мы едем; но я должна вернуться к работе, которая стала мне яснее, более или менее, в последние несколько дней. Но я не считаю, что моя интуиция непогрешима.

Воскресенье, 18 марта

Я потеряла свою писательскую волну; отговорка, так сказать, книжка в жачком состоянии. Сейчас взялась за дневник

ду письмами — только для того, чтобы сообщить: «Орландо» закончен вчера, когда часы пробили один раз. Что бы там ни было, краски на холсте. Но предстоят еще три месяца кропотливой работы, это необходимо, прежде чем печатать книгу; потому что я не очень аккуратничала и в тысяче мест проглядывает основа. Все равно меня переполняет спокойное удовлетворение, потому что, несмотря ни на что, это Конец, и мы уезжаем в субботу; мои мозги в умиротворенном состоянии.

Эта книга написана быстрее всех остальных; она — сплошная шутка, и читать ее весело и быстро. Я думаю; писательский отдых. Во мне крепнет уверенность, что больше я не напишу ни одного романа. Приходят в голову короткие стихотворения. Итак, в субботу мы едем во Францию и возвратимся сюда 17 апреля — на все лето. Время летит — о да; это лето мы опять проведем здесь; и мне здесь все еще интересно. Мир крутится вокруг себя, и, зелено-голубой, он все ближе к глазам.

Четверг, 22 марта

Последние страницы «Орландо». Сейчас без двадцати пяти час; я написала все, что хотела написать, и в субботу мы отправляемся за границу.

Дело сделано. «Орландо» был начат восьмого октября как шутка; а теперь стал слишком длинным, на мой вкус. Он может провалиться между двумя стульями, ибо слишком длинен для шутки и слишком легкомыслен для серьезной книги. Эти мысли я гоню прочь и жадно жду зеленых полей, солнца, вина; ничегонеделанья. Последние шесть недель я была скорее бадьей, чем колодцем, и, не сходя с места, представляла собой мишень то для одного, то для другого. Заяц бегают в тире, друзья стреляют. Слава небесам, Сибил увозит нас сегодня; представляя Дэди, дай Бог, целый день одиночества. Но я намерена после возвращения проконтролировать его стрельбу по зайцам. Еще деньги. Надеюсь осесть и писать каждый месяц по одной небольшой симпатичной и осторожной статье фунтов на двадцать пять; и жить так; без стрессов; читать — то, что я хочу читать. В сорок шесть лет надо быть скрягой; тратить время только на самое главное. Однако мне кажется, я уже довольно много рассуждала на темы морали и должна поговорить о людях, потому что без этого, если видишь их бесцветными,

подолгу, а не по желанию, мысли становятся вялыми и на что способными.

Дождь, ветер; в это время на следующей неделе мы у в центре Франции.

Вторник, 17 апреля

Опять дома, как предполагалось, со вчерашнего вечера чтобы осела пыль в голове, пишу здесь. Мы проехали по Франции и обратно — каждый дюйм этой плодородной воспет великим Певцом. Теперь города, и шпили, и пейзажи поднимаются в моей памяти, тогда как все остальное тает. Я вижу в первую очередь Шартр, улитку, с поднятой головой пересекающую равнину, самый замечательный из соборов. Все мое окно похоже на бриллиант на черном бархате. Снаружи замысловато, но просто; вытянуто; каким-то образом не производит впечатления фантастичности и витиеватости. Возвращается непогода; мне помнится, я почти каждый вечер возвращалась в дождь и в отеле слышала, как он шумит снаружи. Частенько меня развозило от двух стаканов местного вина. Мы все бежали куда-то и впахивали в себя что-то — как свидетельствуют мои сумбурные записи. Один раз оказались на горе и в бурю; и были не на шутку напуганы длинным туннелем. Частенько двадцать миль напрочь отрезали нас от цивилизации. Однажды вечером, когда шел дождь, мы оказались в горной деревушке, и я вошла в дом и сидела с семейством — милейшая вежливая женщина и прелестная застенчивая девушка у которой в Эрлсфилде живет подружка Дэйзи. Ловили и охотились на диких кабанов. Потом мы поехали во Флоренцию где я отыскала книжку — мемуары Жирардона — в старом книжном шкафу, проданном вместе с домом. Здесь все горячая еда и горячие бутылки в постели. Ох, и моя награда в фунтов от французов. И Джулиан. И один-два теплых дня в Понт-дю-Гард в лучах солнца; и Les Beaux* (здесь Данте пришла его идея Ада, как сказал Дункан); и постоянно усиливается желание складывать слова, пока я наконец не стала довольна бумагой, ручкой и чернилами как о чем-то волшебном — и удовольствие от простого бумагомаранья, словно это Божественное благословение. Потом Сан-Реми и руины на сол-

* Красавицы (фр.).

Я уже забываю, как это было — что за чем шло; однако выявляется главное, и я понимаю как; разговаривая сегодня с Рэймондом в «Нейшн», мы как раз обсуждали высоты. До этого, идя по кладбищу* под сильным дождем с ветром, мы встретили Хоуп и темноволосую ухоженную женщину. Взмахнув ресницами, они прошествовали мимо. И почти тотчас я услышала: «Вирджиния!» Обернулась и увидела, что Хоуп идет обратно. «Джейн умерла вчера», — пробормотала она, будто спросонья, и заговорила как безумная, «не в себе». В честь смерти Джейн мы расцеловались возле могилы дочери Кромвеля, где обычно гулял Шелли. Но сама она лежала не на кладбище, а неподалеку, в той самой комнате, где мы недавно видели ее на высоких подушках, похожую на древнюю старуху, которую жизнь выпила залпом и бросила: благородную, удовлетворенную, уставшую. Лицо у Хоуп, как грязно-бурая бумага. Потом я отправилась в издательство, потом вернулась домой работать и теперь работаю и работаю изо всех сил.

Суббота, 21 апреля

Опять мчусь в обычном вихре против времени. А иначе я писала когда-нибудь? Даю слово, больше не прикоснусь к «Орландо», потому что он уродец; в сентябре он выйдет, хотя настоящий художник еще поработал бы над ним, почистил, отполировал — это можно делать до бесконечности. У меня есть несколько часов, которые хорошо бы заполнить чтением — не знаю, чего. Какого лета мне хотелось бы? У меня есть шестнадцать фунтов, которые я могу потратить до первого июля (по нашей новой системе), и я чувствую себя свободнее; могу купить платье и шляпку и пойти в них на прогулку, если пожелаю. Все же по-настоящему волнующая жизнь — воображаемая. Как только колесики у меня в голове начинают крутиться, мне не нужны деньги, не нужно платье, не нужны ни шкаф, ни кровать для Родмелла, ни диван.

Вторник, 24 апреля

Сегодня солнечный летний день; зима отправлена выть в своей родной Арктике. Вчера вечером читала «Отелло» и была

* Кладбище на Брансвик-сквер. Поблизости жили Джейн Харрисон

и Хоуп Миррлиз (*Прим, переводчика*).

пол впечатлением бесконечного и беспорядочного потока их слишком много, сказала бы я, если бы писала статью в «Таймс». А он пользуется этим как приемом, когда падает в обморок. В великих сценах слова пригнаны плотно, как перья к руке. А вот в потоке необязательных слов его мозг млеет и бултыхается; я хочу сказать, это происходит в голове великого мастера слова, когда он пишет, не желая прилагать усилий. Он изобилует. Писатель послабее ограничен. Как всегда, отличие от Шекспира. Мой разум открыт словам — английским и французским — в данный момент; они бьют меня, жестоко бьют, как трю, как они скачут и прыгают. Целую неделю я читала по-французски. Мне пришла идея насчет статьи о французской литературе; что мы о ней знаем.

Пятница, 4 мая

Надо написать о Женской премии, прежде чем в этот колоссальный летний день я отправлюсь на Даути-стрит писать с мисс Дженкинс. Иду исполнить свой долг и не собираюсь унижать юную даму. Но искушение будет велико, не сожалею. День все-таки чудесный.

Премия — это несколько дурацких скучных часов; воистину титанически; не страшно; глупо. Хью Уолпол сказал, как сильно любит мои книги; скорее, как он боится за свои собственные. Маленькая мисс Робинс, похожая на малиновку, лезла и вон. «Я помню вашу матушку — она была самой прекрасной и самой совершенной женщиной на земле. Она пришла ко мне в моей квартире. (Представляю этот визит в какой-нибудь день.) Она никогда не говорила ничего лишнего, но произносила нечто совершенно неожиданное, со своим именем Мадонны, что можно было принять за порочное». Это мне понравилось; а все остальное не произвело особого впечатления. Потом был ужас от моего отвратительного вида в дешевой ночной рубашке. Этот комплекс контролировать трудно. Утром я проснулась, как от толчка. Опять «слава» становится вульгарной и утомительной. Она ничего не значит; но отнимает много сил у меня. Постоянно американцы. Кроули; Гейдж; предлож

Четверг, 31 мая

Опять нет солнца; я уже почти забыла «Орландо», пока не прочитал его и он уже наполовину не мой; мне как

в нем нет грохота, который обязательно был бы, поработай я над ним подольше: он слишком причудлив, неровен, но местами просто замечателен. Что же до общего впечатления, то не мне судить. Думаю, он не «важный» в списке моих работ. Л. называет его сатирой.

Л. принимает «Орландо» серьезнее, чем я ожидала. Думает, что он кое в чем лучше, чем «На маяк»: о более интересных вещах и с большим и более широким приближением к жизни. По правде говоря, я бралась за него как за шутку и уж потом стала относиться к нему серьезно. Поэтому в нем нет единства. Л. говорит, что он по-настоящему оригинальный. Как бы то ни было, я рада, что на сей раз избежала писания «романа», и надеюсь, в этом меня никогда больше не обвинят. Теперь я хочу написать предельно обоснованную критику; книгу о художественной литературе; своего рода эссе (но не «Толстой» для «Таймс»), Полагаю, «Вечерний прием доктора Берни» для Десмонда. А потом? У меня большое желание держать люк закрытым; не хочу, чтобы в него проникало слишком много проектов. Пусть в следующий раз будет что-нибудь абстрактно-поэтическое. Нс знаю. Мне в общем-то нравится идея биографий живых людей. Оттолин предлагает себя, но нет. Мне еще надо перелопатить рукопись и выпустить в мир побольше эссе и «авантюры».

Июньская погода. Тихо, чисто, солнечно. Благодаря «Маяку» (автомобилю) я не чувствую себя запертой в Лондоне, как прежде, и могу вообразить, будто провожу вечер где-нибудь на вересковой пустоши или во Франции, не испытывая привычной зависти оттого, что теплым вечером сижу в Лондоне. Правда, Лондон постоянно привлекает меня, стимулирует, щедро дарит мне пьесу, рассказ или стихотворение, когда я отправляюсь гулять по его улицам. Сегодня прогуливалась Пинкер по Грейз-Инн-Гардене и увидела — Ред-Лайон-сквер: дом Морриса; стала представлять, как они проводили зимние вечера в пятидесятых годах; решила, что мы не менее интересны; увидела Грейт-Ормонд-стрит, где вчера нашли мертвую девушку; послушана и посмотрела, как Армия спасения превращает христианство в веселое действо; подтачивают локтями, шутят с непривлекательными юношами и девушками, чтобы оживить действо, полагаю; и все же, если честно, когда я вижу это, то не смеюсь^и не критикую, лишь чувствую, что это странно и интересно;^и Размышляю над смыслом их призыва: «Приди к Богу». Смею

сказать, отчасти это эксгибиционизм; аплодисменты гал-юноши поют гимны и громкими голосами объявляют, что спасены. Этого, зачем нужно писать для «Ивнинг стандард» — я собиралась сказать себе; но пока еще не сказала.

Среда, 20 июня

Мне так плохо из-за «Орландо», что не могу ничего писать. Всю неделю вычитывала гранки; и не в состоянии придумать ни одной фразы. Презираю себя за говорливость. Почему тогда разглагольствую? И еще я почти потеряла способность к чтению. Читая гранки по пять, шесть, семь часов в день, тошно выверяя их, я жестоко обошлась с моим чтением. На обеда беру Пруста и кладу обратно. Самое плохое время. Встают мысли о самоубийстве. Делать совсем нечего. Все кажется безвкусным и ненужным. Буду наблюдать, как я оживлюсь. Думаю, что-то все же нужно читать — скажем, жизнь Геттисберга.

Среда, 9 августа

...Описываю это частично, чтобы избежать «повествовательной» скуки; так вот, мы приехали сюда* две недели назад в Чарльстоне, приехала Вита, и мы отправились поехать заодно посмотреть ферму в Леймкильне. Вне всяких сомнений через десять лет меня будут больше интересовать факты, чем хочу, как мне хочется теперь, когда я читаю свои записки, подробности, подробности, чтобы я могла оторваться от них и увидеть их, представить себе, иногда воображаемое, кажется правдивее, чем то, что есть на самом деле, ведь оно состоит из кучи нерассортированных фактов и не может похвастаться мое теперешнее воспоминание, когда я еще не успела написать. В понедельник, насколько мне помнится, была чудная погода; мы поехали через Райп; там девушка и ее приятель ехали на узкой дорожке у калитки, и нам пришлось помешкаться потому что мы свернули на эту дорожку. Я подумала, как они говорят, чертовски похоже на реку из-за нашего поворота; они стояли там, любопытные и нетерпеливые, объясняя, надо ехать налево, хотя дорога шла прямо. Они были рады, когда мы уехали; но все же одарили нас своим вниманием. К

* Молкс-хаус, Родмелл.

люди в автомобиле? куда они едут? Потом это ушло в их подсознание, а потом и вовсе исчезло. Мы продолжали свой путь. Потом появилась ферма. Из печей для сушки хмеля торчали спицы от зонтика; все было разрушенное, поблекшее. Тюдоровская ферма — почти слепая; очень маленькие окошки; в стюартовскую старину фермеры, видимо, любили глядеть вдаль на ровную землю, запущенную, неухоженную, и ходили на жителей трушоб. Но у них было достоинство; по крайней мере, они ставили толстые стены; складывали камины; все было солидным; а теперь в доме живет один розовощекий старик-вдовец, который не встал со своего кресла, — идите куда хотите, сказал он, и у него были неловкие движения, он производил впечатление разрушения, как печь для хмеля; там было сыро; отсыревшие ковры, жалкие, как кровати с плесневевшими под ними горшками. Стены были липкими; мебель середины Викторианской эпохи; внутри стоял полумрак. Дом умирал, разрушался; старик прожил в нем пятьдесят лет, и вот теперь дому предстояло исчезнуть, потому что ему не хватало красоты и силы заставить человека привести себя в порядок.

Суббота, 12 августа

Буду ли я продолжать свой монолог или вообразу аудиторию, которой интересны мои размышления? Эта фраза подходит книге о литературе, которую я сейчас пишу — еще раз, о да, еще раз. Что думаю, то и пишу. Пишу все, что приходит в голову о Сказании, о Диккенсе и так далее, сегодня нужно поспешить с заметками о Джейн Остин и приготовить что-нибудь на завтра. Вся эта критика, однако, может быть в один прекрасный момент сметена желанием написать историю. «Мотыльки»* порхают где-то в задней части мозга. Вчера мы были в Чарльстоне, и Клайв сказал, что нет разделения на классы. На нас падал розовый отсвет великанши-розы, когда мы пили чай из ярких синих чашек. Всем было немного не по себе за городом; я еще подумала, такая буколика. Очень красиво — я даже позавидовала мирной сельской жизни; деревья стояли навтыжку, словно с'фажи, — почему я обратила внимание на деревья? На меня большое впечатление оказывает внешний вид вещей. Даже те-

* Роман «Волны» (Прим, переводчика).

перь, глядя на грачей, бьющих крыльями высоко в небе привычке спрашиваю себя: «Как это лучше описать?» И юсь придумать такое описание, чтобы можно было почувствовать колючий ветер и дрожащие крылья грачей, режущие как будто в нем сплошные твердые складки и выступы, поднимаются выше и падают вниз, вверх и вниз, словно ныряют в сопротивляющемся воздухе, как пловцы, плывущие в бурном море. Все-таки очень мало я могу передать чем из всего того, что столь живо дано моим глазам, и не только зам; что я ощущаю всеми нервными клетками или похожими на мембраны моего существа.

Пятница, 31 августа

Последний день августа, подобно почти всем последним дням августа, невероятно красив. Каждый день прекрасен по себе, и все они довольно теплые, так что можно сидеть на берегу; однако по небу все время плывут облака; поэтому то и то сумеречно, что так восхищает меня в гористой местности и что я всегда сравниваю со светом под алебастровой вазой. Пшеница встала кругом в два, три, четыре, пять рядов пыльных желтых пирогов — как будто жирных и воздушных; и в это время. Иногда я смотрю, как через ручьи бежит стадо, «будто с ума», сказал бы Достоевский. Облака — если бы я могла поймать их, я бы это сделала; вчера одно было со струящимися, красивыми седыми волосами старика. Сейчас они висят на свинцовом небе; однако трава, освещенная солнцем, зелена, зеленая. Сегодня я ходила к ипподрому и видела д

Понедельник, 10 сентября

...Меня забавляет, что Десмонд сразу же попадаетея на то, что стоит Ребекке Уэст сказать «все мужчины снобы»; но вчерашняя рировала ее замечание емкой фразой из «Жизни и писем» «ограниченности» женщин-новеллисток. В ней нет желчно-плодотворно беседовали, не исчерпав наш интерес друг друга. Думаете, мы теперь, как грачи, возвращаемся домой на ветку дерева? и все эти беседы означают приготовления на ужин. Мне кажется, я замечала у некоторых из наших друзей сердечные отношения; удовольствие от общения, похожее на луч заходящего солнца. Этот образ часто является мне в

с пониманием, что физически я стала холоднее, солнце только что зашло; старый диск бытия становится прохладнее — но пока это лишь начало; а потом станешь холодной и серебряной, как луна. Это лето было очень оживленным; почти целиком прожитым на людях. Довольно часто я навешала святилище; женский монастырь; у меня был приступ религиозности; однажды я сильно страдала; и все время ощущала ужас; что-то похожее на страх одиночества; будто увидела дно колодца. Нечто подобное со мной уже было тут в один из августов; но тогда мне удалось выбраться в осознание того, что я называю «реальностью»: то есть того, что вижу перед собой: нечто абстрактное; но пребывающее в горах или на небе; помимо этого нет ничего, в чем я могла бы отдыхать и продолжать свое существование. Я называю это реальностью. И иногда мне кажется, что для меня нет ничего важнее нее: что именно ее я ищу. Но потом берешь в руки перо и начинаешь писать — и кто знает? На редкость трудно не «делать реальность» такой и сякой, ведь она одна. Наверное, в этом и есть мой дар: и, видимо, это отличает меня от остальных: думаю, не часто встречается столь же острое чувство чего-то подобного — и опять же, кто знает? Мне бы хотелось это выразить.

Суббота, 22 сентября

Это было самое замечательное, и не только замечательное, самое прекрасное лето. Несмотря на ветер, воздух чистый и ясный; облака опаловые; длинные амбары у меня на горизонте мышинового цвета; столбы бледно-золотистые. Получив во владение поле, я изменилась по отношению к Родмеллу. Теперь я копаю, принимаю участие во всем. Если мне удастся заработать денег, то пристрою еще один этаж к дому. Однако вести об «Орландо» ужасные. Мы можем продать третью часть, как это было с «Маяком», до публикации — ни один магазин не купит больше полдюжины или дюжины экземпляров. Они говорят, что не могут больше. Им не нужны биографии. Но ведь это роман, говорит мисс Ритчи.

На титульном листе написано «биография», возражают они, и книга будет стоять на полке с Биографиями. Поэтому хорошо, если мы сумеем покрыть расходы, — высокая цена за придуманный мною розыгрыш с биографией. А я-то была уверена, что книга пойдет нарасхват! И еще она будет стоять шесть шиллин-

гов десять пенсов или шесть шиллингов двенадцать пенсов или девять пенсов. Господи! Господи! Итак, мне придется это мой писать статьи, если мы хотим положить яички в ба всех сил работаю над романом и закончила бы черновик, если бы не Дороти Осборн, за которую теперь надо. Наверняка придется все переписать, но начало положено читала книгу за книгой, и что читать теперь? Романы слишком долго окружали меня. Избавиться бы от них; я бы читала английскую поэзию, французские мемуары — не почитать теперь для книги, которую я назову «Жизнь неизвестных людей»? А когда, интересно, я начну «Мотыльков»? Не раньше чем они сами призовут меня. Не имею ни малейшего предположения, что это будет, — нечто совершенно новое, как я полагаю. Я всегда так полагаю.

Суббота, 27 октября

Позор, позор, столько времени прошло впустую, а я сижу на мосту и смотрела, как оно уходит. Разве что не перебежала через перила; в ажиотаже бегала взад-вперед, беспрерывно возбужденно. Река устроила отвратительный водоворот. Почему пишу эти метафоры? Потому что целую вечность ничего не делаю. «Орландо» опубликован. Мы с Витой ездили в Буртон. Будто одно мгновение. И все как-то отрывочно! С этого мгновения, то есть с без восьми шесть вечера в субботу, моя жизнь сконцентрирована на своем честолюбии. Сейчас, когда пишу здесь, собираюсь читать дневники Фанни Берни и работать над статьей, о которой мне телеграфировала мисс Маккей. Надо читать, думать. Двадцать шестого сентября перестала читать и думать, когда отправилась во Францию. Теперь я вернулась, и мы вновь погружены в лондонскую интеллектуальную жизнь. «Орландо» немного надоед. Кажется, мы почти все равно, что о нем думают. Радость жизни в светской компании — как всегда, убиваю цитату; я хотела сказать, что мое писания доставляет мне радость, а не то, что меня читают. Не могу писать, пока меня читают, поэтому всегда немножко искренняя; возбужденная; не такая счастливая, как в светской компании. То, как приняли книгу, говорят, превзошло все ожидания. В первую же неделю был побит наш рекорд продаж. Лениво парила в похвалах, когда Сквайр рычал в «Обсерватории».

и даже когда я стала читать его в воскресенье среди падающих красных листьев, в их свете я почувствовала, что внутри меня ничего не дрогнуло. «Меня это не мучит», — сказала я себе; даже теперь; и уж точно до вечера я была спокойна, недосягаема. А теперь Хью в «Морнинг пост» опять пролил на меня елей, и Ребекка Уэст — трубный глас похвалы — таков ее стиль — я ощущаю себя слегка смущенной и глуповатой. Надеюсь, теперь все.

Слава Богу, мой долгий груд над дамской лекцией наконец-то завершен. я вернулась, прочитав лекцию в Гиртоне*, под проливным дождем. Голодные, но храбрые молодые женщины — вот мое впечатление. Образованные, жадные, бедные; судьбой назначенные стать школьными учительницами. я ласково посоветовала им пить вино и иметь собственную комнату. Почему все великолепие, вся роскошь жизни должны изливаться на Джулианов и Фрэнсисов, ничего не оставляя Фарам и Томасам? Но, возможно, Джулиан не очень ими наслаждается. Думаю, когда-нибудь мир переменится. Полагаю, оснований для этого становится все больше. Но мне бы хотелось получше и поближе узнати жизнь. Иногда неплохо иметь дело с реальными вещами. У меня странное ощущение звона в ушах и прилива энергии после вечерней беседы; все угловатости смягчаются, и неясности проясняются. Как мало значит человек; я думаю, как мало значит один человек; как стремительна, яростна, совершенна наша жизнь; и как все эти тысячи плывут за милой жизнью. я чувствовала себя старой и мудрой. А меня никто не уважал. Они были нетерпеливыми, эгоистичными и не очень-то подпали под впечатление моего возраста и моей репутации. Почти никакой почтительности или чего-то в этом роде. Коридоры Гиртона похожи на сводчатые склепы в каком-нибудь чудовищном соборе — их много, они идут и идут, холодные и светлые, ибо в них горит огонь. Готические помещения с высокими потолками: многие акры блестящего коричневого дерева; кое-где фотографии.

Среда, 7 ноября

Теперь буду писать для собственного удовольствия. И застряла из-за этой фразы; ведь если пишешь только шля собствен-

* Гиртон — колледж, входит в Кембриджский университет, был открыт специально для женской аудитории в XIX в. (*Прим, переводчика*).

ного удовольствия, то не знаешь, получится ли что-нибудь. Полагаю, что удовольствия больше не предвидится, му не пишу вовсе. У меня немного болит голова, и я не со в себе из-за снотворного. Последствия (что это значит? — в ответ на мою ненужную откровенность молчит) «Орла Да, да; с тех пор как я писала тут в последний раз, я стала с половиной дюйма выше в общественном мнении. Думаю сказать, что принадлежу теперь к известным писателям ла чай с леди Кьюнард* — могла бы обедать и ужинать с в любой день. Я нашла ее в маленькой шляпке с телефон трубкой в руке. Это не ее стиль — разговаривать с кем-то не. Она умело распускает крылья, и ей нужно общество, у стать стремительной и шальной, собственно, в этом ее ц лепая маленькая женщина с попугайчьим лицом; но не т на самом деле нелепая. Я продолжала ждать чего-то нео венного; но не могла представить хлопанья крыльями. Л да; но немного однообразные и добродушные. Мраморн да; но нет волшебства; ни одна струна не звенит, по край ре для меня. И мы две сидим, такие заурядные, плоские — напомнило мне о сэре Томасе Брауне — величайшая кни шего времени, — сказала со скукой в голосе деловая жен которая не верит в такие вещи, разве что под ланч с шам ским и гирляндами. Потом пришел лорд Донегалл, бойк ландский юноша, темноволосый, с болезненным цветом быстрый, и направился к прессе. «Разве они не третируют как собаку?» — спросила я. «Вовсе нет», — ответил он, уд шись тому, что маркиза можно третировать, как собаку. мы пошли наверх и еще наверх, чтобы посмотреть карти вешенные вдоль лестницы, в бальных залах и, наконец, п не леди К. в окружении цветов. Над кроватью треугольн дахин из розовато-красного шелка; окна выходят на Пло и завешаны зеленой парчой. Ее трюмо — как у меня, тол крашенное и позолоченное — стояло нараспашку с золо щетками, зеркалами, и там же на золотистых шлепанцах ратно лежали золотистые чулки. Вся эта параферналия р ного старческого движения моего большого пальца. Она два больших музыкальных ящика, и я спросила, слушает

*Вероятно, владельца «Кьюнард Круизиз» (Прим. перевс)чика).

и х, ложась в постель. Нет. В этом смысле в ней нет ничего этакого. Важны деньги. Она рассказала мне довольно противные истории о леди Сэквиль, которая никогда не приходила к ней, чтобы не всучить какую-нибудь дрянь, или бюст, которому цена пять фунтов, а та заплатила сто; или медный молоток. «И потом, ее разговоры — я никогда не слушаю...» Мне не стоило труда представить примитивные низкие разговоры, но было нелегко добавить в воздух золотой пыли. Вне всяких сомнений, она цепко держится за жизнь; но как же это восхитительно, думала я, в слишком узких туфлях шагая к своему дому, в тумане, в холоде, неужели нельзя открыть одну из дверей, которые я все еще открываю с осторожностью, и найти за ней живого интересного настоящего человека, чтобы он был как Несса, Дункан, Роджер? Кого-нибудь незнакомого, но с живым умом. Грубые, заурядные, скучные все эти Кьюнарды и Коулфаксы — несмотря на их потрясающую компетенцию в коммерческой стороне жизни.

Не могу придумать, что писать теперь. То есть положение таково, что «Орландо», конечно же, быстрая и блестящая книга. Правильно, но я не пыталась ничего исследовать. И надо ли всегда исследовать? Да, надо, я и теперь в этом уверена. У меня ведь необычная реакция. Не могу я после всех этих лет с легкостью сбежать прочь. «Орландо» научил меня, как писать простые фразы; научил меня последовательности в повествовании, как держать в страхе реальность. Однако я намеренно обходила другие трудности. Я не лезла в свои глубины и не заставляла персонажей противостоят друг другу, как это было в романе «На маяк».

Что ж, «Орландо» стал результатом совершенно очевидного и, естественно, непреодолимого импульса. Я хочу веселья. Я хочу фантазии. Я хочу (и это серьезно) показать карикатурную ценность вещей. Это настроение не дает мне покоя. Я хочу написать историю, скажем Ньюхема* или женского движения, но в этом русле. Оно глубоко для меня — по крайней мере, светит мне, зовет меня. Но не стимулируется аплодисментами? или слишком стимулируется? Я думаю, есть вещи, которые талант

* Ньюхем — колледж был основан в 1871 г. как часть Кембриджского Университета для академического образования женщин (*Прим, переводчика*).

должен делать для освобождения гения: чтобы он мог свою часть; одно дело — дар, когда он просто дар, ни к приложенный, и другое дело — дар, когда он серьезно строен к делу. Один освобождает другой.

Все так, а что «Мотыльки»? Это должно было стать новой мистической, слепой книгой; поэмой-драмой. В нем позволить себе аффектацию, быть слишком мистическим, слишком абстрактной; скажем, Несса, и Роджер, и Дун и Этель Сэндс обожают такое; это бескомпромиссная чуждость; поэтому мне лучше заручиться их одобрением.

Опять кто-то из журналистов сказал, что у меня кризис; сейчас он легкий и гладкий, как вода, и не задерживает себе взгляд.

Эта болезнь началась в романе «На маяк». Первая часть легкой — я писала и писала без остановки!

Смогу ли я теперь вернуться назад и укрепиться в «Дэллоуэй» и «Комнаты Джейкоба»?

Мне кажется, результатом будут книги, которые освещают другие книги: множество стилей и предметов: ибо считать того, что называется моим темпераментом, мило, мало что остается, убежденного в правдивости — тогда говорю, что люди говорят, — но всегда следует инстинктивно слепо, так, будто прыгает через пропасть — зов — зов, если я напишу «Мотыльков», я пойму эти мистические

Из-за Х не состоялась наша субботняя прогулка: он какой-то заплесневелый и ввергает меня в уныние. Но он совершенно здравомыслящ и очарователен. Его ничто не удивляет и не пугает. Он через все прошел, это чувствуется. И вечно чуждый, гладкий, поглупевший, определенно помятый человек, как человек, который просидел всю ночь в вагоне третьего класса. Пальцы у него пожелтели от сигарет. Одну руку вниз не хватает. Волосы влажные. Глаза какие-то подернутые. В синем носке дырка. И все же он решителен и саркастичен — именно это приводит меня в уныние. Он как будто уверен, что только его точка зрения правильная; а у нас постоянные отклонения. Но если он прав, то, Боже Всемилостивейший, человеку незачем жить; ведь не ради же жирного бисквита меня стал удивлять и пугать мужской эгоизм. Среди моих знакомых женщин нет ни одной, которая просидела бы у

в кресле с трех до половины седьмого, делая вид, будто не подзревает, что я могу быть занятой, усталой или умирать от скуки; которая просидела бы все это время, разговаривая, ворча и сетуя на свои трудности, несчастья; а потом ела бы шоколад, читала книгу и наконец удалилась бы в полном мире с собой, завернувшись в нечто вроде рыданий туманных самопоздравлений. Нив Ньунхеме, ни в Гиртоне нет ни одной такой девушки. Они слишком активны и слишком воспитанны. Подобная самоуверенность им не свойственна.

Среда, 28 ноября

День рождения папы. Сегодня ему было бы девяносто шесть лет, да, девяносто шесть лет; ему могло бы быть девяносто шесть лет, как другим людям, но, Бог милостив, этого не случилось.

Его жизнь полностью поглотила бы мою. И что тогда было бы? Я не писала бы, у меня не было бы книг — невероятно.

Я привыкла каждый день думать о нем и о маме; но когда я писала «На маяк», то как-то усмирила свои мысли. С тех пор он приходит ко мне время от времени, но по-другому. (Я верю, что это правда — что я была болезненно захвачена ими обоими и мне было необходимо написать о них.) Теперь он приходит ко мне как ровесник. Надо будет почитать ему что-нибудь. Интересно, услышу ли я опять его голос, почую ли его сердцем?

Итак, дни проходят, и иногда я спрашиваю себя, неужели человека не гипнотизирует, как в детстве серебряный глобус, живая жизнь? И жизнь ли это? Все так быстро, ярко, волнующе! Но как будто поверхностно. Мне бы хотелось взять глобус в руки и ощутить его мирную округлость, гладкость, тяжесть, и вот так держать его в руках изо дня в день. Думаю, я буду читать Пруста. И буду читать его кусками.

Что до моей следующей книги, то я собираюсь удерживать себя от писания, сколько потребуется: но что-то тяжелое созрело у меня в голове, словно спелая груша; висит, налитая, и просит, чтобы ее сорвали, не то грозит упасть. «Мотыльки» все еще не отпускают меня, являются всегда непрошеными между чаем и обедом, когда Л. заводит граммофон. Я пишу страничку-Другую и заставляю себя остановиться. В самом деле, я против некоторых трудностей. Начиная со славы. «Орландо» был встречен очень хорошо. И теперь я могу писать в том же клю-

че — что может быть проще? Все говорят о непринужденности. И мне бы хотелось это сохранить, но остального. Однако эти качества были в основном результатом игнорирования других. Они принадлежат поверхностности; и если я начну копать, не исключено, потеряю способность подумать о своей позиции по отношению к внешнему миру? Мне кажется, легкость и порыв — это хорошо; я даже думаю, что внешнее — тоже хорошо; но комбинации должны быть возможны. Мне в голову пришла мысль, что я хочу насытить каждый атом. Следовательно, убрать все ненужное, мертвое, избыточное: воссоздать мир целиком; что бы оно ни включало в себя. Скажем, мир — это единство мысли; ощущения; голоса моря. Не мертвое приходит из-за включения того, что уже не принадлежит мгновению; отталкивающее повествовательный стиль: например, переход от ланча к обеду — фальшивый, по своей сути условный. Зачем брать в литературу то, что не является поэзией — под чем я имею в виду насильственность? Не в этом ли моя основная претензия к романам? Не в том ли она, что они ничего не отбирают? Поэты преуспели потому что упрощают: они выкидывают почти все. А мы хотим все сохранить и сатурировать. Именно этого я добился в «Мотыльках». Мгновение должно включать в себя чуждый факт, грязь: но быть прозрачным. Думаю, мне надо почитать Ибсена, Шекспира и Расина. И я что-нибудь напишу о лучших шпор не придумав — и мой разум станет таким, каким он должен быть, я буду читать с яростью и дотошностью, иначе многое пропущу, ведь я ленивый читатель. И вы удивлена и немного обеспокоена беспощадной жесткостью своего мозга: он никогда не перестанет читать и писать. Я не смею просить вас не читать о Джеральдин Джюсбери, о Гарди, о других — он слишком профессионален, и в нем почти ничего не осталось от любительской мечтательности.

Вторник, 18 декабря

Л. только что советовался насчет третьего издания «Мотыльков». Он уже заказан; мы продали больше шести тысяч экземпляров, а скорость продаж странным образом не снижается. Сегодня, например, сто пятьдесят экземпляров; в обыч-

между пятьюдесятью и шестьюдесятью, и так все время, что удивительно. Что будет дальше? В любом случае, моя комната — моя крепость. В первый раз с тех пор, как я вышла замуж, 1912—1928 — шестнадцать лет, — я сама трачу деньги. Тратящий мускул еще плохо работает. Я чувствую себя виноватой; откладываю покупки, когда знаю, что все равно должна их сделать, и все же у меня роскошное ощущение монет в кармане, помимо моих еженедельных 13 шиллингов, которые всегда куда-то убегали или требовались на что-то необходимое.